



Дизайн автора

ПОРТРЕТ ИВЕТТЫ

Повесть

Эту повесть, написанную более двадцати лет назад, я многожды сокращал, вычеркивая все, что, на мой взгляд, тускнело от стремительно меняющегося времени. Теперь в ней, кроме любви к обетованному Крыму, которого мы лишились, и к женщинам, которые нам изменили (или мы им, что, в общем, одно и то же), ничего, пожалуй, и не осталось, но это меня вполне устраивает.

Благодарю свою старшую дочь Алину Куберскую, взявшую на себя труд отредактировать эту впервые публикуемую вещь.

С севера дул сильный ветер – и внизу по воде, испещренной мертвой зыбью, змеились темные полосы. С окружных холмов скатывался низкорослый подсушенный кустарник, дальше мрели лиловые изломы Сюрю-кая, похожие на разрушенный замок. Тропа уперлась в скалу, пошла вправо и вскоре вовсе оборвалась. Поколебавшись, Кашин полез вверх. Двигался он легко, с удовольствием ощущая еще молодую силу мышц. Насте не терпелось следом, но он погрозил ей пальцем. Добравшись до очередного скального уступа, Кашин сделал шаг вперед, и взгляд его лишился опоры – впереди зияла пустота. Вытянув шею, он осторожно глянул вниз. Камни и заросли. Метров двадцать... Холодок пробежал между лопаток. Кашин отступил к каменной стене и тут же, в метре от обрыва, нашел безопасный путь.

– Дима, я лезу за тобой, – настаивала дочь, глядя на него снизу – ладошка козырьком. Он хотел спуститься за ней, но она звонко крикнула: «Лезу!» – и стала взбираться с неожиданной ловкостью. Через минуту ее покрасневшее личико выглянуло рядом из-за камней:

– Куда теперь?

Он молча мотнул головой в сторону. Он стоял, заслоня спиной пропасть и чувствовал, как ее дыхание наполняет болезненной слабостью руки и ноги. Он не любил высоту.

Дочь так ничего и не заметила, и они двинулись дальше. Целью их был Чертов палец.

– А он какой? – спрашивала она. – Он не зашевелится?

– Думаю, что может, – многозначительно отвечал Кашин.

– Дима! – дергала Настя его за руку, заглядывая в глаза, – я серьезно спрашиваю...

Со стороны Магнитного хребта он был похож на истукана с острова Пасхи – даже среди этих неправдоподобных силуэтов, скачущих вниз, к морю, даже среди них – фантастический. На вершине виднелась рукотворная пирамида из камней – кто залезал? Он был сумрачный, ноздреватый, пупырчатый – в каждом углублении роилась кромешная тьма.

И совсем другим оказывался дальше, со стороны дороги, огибающей Святую гору, – из дубовой рощицы, звенящей жесткой листвой, – словно огромная бабочка, опираясь на окаменелые

крылья, подымала к небу маленькую квадратную головку. Драма каменной плоти и замурованной души. Кашин усмехнулся. Недаром его так сюда тянуло.

Однако изображению все это не поддавалось. Он сел спиной к Чертову пальцу и раскрыл на коленях этюдник. Перед ним был хребет, похожий на костяную спину стегозавра. Солнце уже стояло высоко и било резко, слепяще, не оставляя теней и оттенков. Кашин торопился, чтобы Настя не раскисла от жары, и эта внутренняя суета мешала ему почувствовать, что же он собственно хочет изобразить. Но рука его двигалась привычно – с навыком, который может обойтись и без вдохновения. Кашин давно взял себе за правило просто работать, каждый день, пусть даже в никуда. Он поработал, значит, имеет право дальше жить. Это право нужно было отстаивать постоянно, будто еще со студенческих лет он попал к самому себе или к Богу в должники.

За его спиной на тропе раздавались шаги людей, к нему скатывались камешки. Всем хотя бы издали хотелось посмотреть, что же он там делает, словно он со своим этюдником входил в обязательный набор здешних достопримечательностей. Затылком он чувствовал людскую агрессию любопытства. Художник – это всегда вызов, и улица для него – область риска. Настя ходила кругами, словно оберегая его. Но смотреть, собственно, было не на что – тайна, которая, казалось, дышит, шевелится, проступает, тайна сгинула, хотя он продолжал упорно смешивать краски и водить кистью по бумаге. Мокрый красочный слой из-под кисти мгновенно просыхал. Акварель была почти загублена.

– Неплохо, – сказала, подходя, Настя. – Я тоже хочу порисовать, можно? Я быстро.

Пока дочь склонялась над этюдником – в широкополой шляпке ей было не так жарко – он искал спуск к морю. Из распадка поднимались остроконечные каменные башни, словно несущие опоры давно уже развеянной и размытой поверхности жизни.

Настин эскиз его удивил и обрадовал. Никаких тебе конфликтов. Будто здесь ее собственный дом. Все весело, мирно и ярко. Откуда у нее такие цвета? Ему, пожалуй, было чему у нее поучиться.

– Умница! – сказал он, целуя дочь в щеку.

– Тебе нравится? – откинула она голову, чтобы увидеть его из-под полей шляпки.

– Пойдем, – сказал он, – у меня терпения осталось только на час, а нам еще два часа ходу.

– Ничего, – сказала она, – я тебя потом понесу.

Они поделили последний персик и вышли на склон. Внизу из-за него выныривали на голубой простор плавные охристо-зеленые увалы последнего перед обрывом карниза. Нити тропинок обегали подьемы и спуски.

– Не хочу к морю, – сказала Настя. – Давай лучше поищем драгоценные камни. Ты ведь обещал, – в голосе ее прозвучала готовность услышать отказ, но Кашин кивнул.

Они выбрались к водостоку и, цепляясь за кустарник, спустились в желоб, выточенный в скале. Какие-то светлые изысканные линии пробегали по нему.

– Что это? – нагнулась Настя, поглаживая пальцами проступающую нежно-розовую ветвь.

– Халцедоновая жила, – сказал Кашин.

– Только... как... тебя... достать? – закричала Настя, делая вид, что выцарапывает ее. Они порыскали вокруг и на нижних уступах каскада в россыпях камней нашли несколько полупрозрачных, загорающихся под солнцем осколков.

– Как нам повезло! – протяжно дышала Настя. Глаза ее потемнели, голос зазвучал глубоко, она вдруг стала быстрой и ловкой – совсем как ее мать...

Русло водостока то расширилось, образуя огромные пустые чаши, то снова становилось узким, мелким, забитым камнями.

- Не завидую тому, кого здесь застанет гроза, – сказал Кашин.
- А что? – насторожилась Настя.
- Камни... Все эти булыжники... Они катятся сверху, в водопаде. Представляешь?
- Дима, перестань меня дразнить.
- Я не дразню.
- Разве сегодня будет гроза?
- Почему бы нет...
- Дима...
- Что?
- Может, уже хватит? Пойдем, а?

Подниматься стало много труднее – сумка с камнями тянула вниз, словно невидимая враждебная рука. Далеко вверху врезался в чистое небо освещенный солнцем уступчатый гребень хребта, но прямого пути к нему не было.

- Дима, куда ты? Нам же наверх... – В голосе Насти слышалась тревога и усталость.

Вышли не там, где Кашин предполагал. Справа открылось ущелье, затененное и глухое. Два дымчато-сизых истукана предварили его – словно два клыка огромной пасти. Настя шла, прижавшись к Кашину. В распадке замерла густая куполообразная зелень. В этой замершей зелени таилось какое-то напряжение. И вдруг, словно разряжая его, внизу возник беззвучный оранжевый огонек. Лиса. Она спокойно пересекла темное открытое пространство, словно кто-то плавно пронес свечу, и скрылась под неподвижной листвой.

- Там ее нора, – тихо сказал Кашин.
- Пойдем отсюда, – прошептала Настя. – Я боюсь...

Кашин и сам испытывал странный трепет. Вокруг шла другая жизнь, которой не было до него никакого дела, и он чувствовал себя уязвленным, словно из творца сам превратился в ее участника.

– Вот так пойдем, – тоже шепотом сказал он, показывая рукой наискось вдоль пологого каменного склона, похожего на скат огромной воронки.

Склон был усеян мелкими круглыми камешками – они катились из-под ног, шурша и пощелкивая.

В урочище тихо цепенели сумерки – только башенные отроги хребта Кок-Кая по ту сторону сокрытого деревьями распадка дотягивались до оранжевого светового потока.

Поскальзываясь, миновали склон. Дальше пути не было. Оставалось или спускаться к распадку, или карабкаться по каменным уступам вверх. Спускаться не хотелось – высота словно хранила от опасности, мерещившейся под пологом замершей листвы.

Возле скалистой гряды под ногами поползла осыпь. Кашин тянул за собой Настю. Прошиб пот, и что-то нехорошее шевельнулось в груди – ведь они идут наугад. Из-под разбуженных камней вставала серая мучнистая пыль. Настя, цеплявшаяся за него, словно угадала, что ему трудно, и вырвала руку:

– Папа, я сама...

До гряды было всего ничего, но за четыре шага удавалось продвинуться лишь на один. Они взяли чуть правее, чем следовало, и оказались рядом с обрывом. Внизу, глубоко врезавшись в скальное ложе, темнело сухое русло.

– Теперь сюда, – деловито, будто все под контролем, кивнул Кашин, загораживая спиной обрыв. – Тут просто. Полезешь?

– Да, папа.

Из-за горы пророкотал гром.

– Гроза! – в отчаянии сказала Настя. – Что мы теперь будем делать?

– Ерунда, – улыбнулся он. – Успеем.

На крутом подъеме он вдруг потерял равновесие и, выпустив сумку с камнями, сполз вниз, хватаясь за предательски разламывающуюся под пальцами породу.

Настя мгновенно обернулась.

– Лезь, лезь, – махнул он рукой. – Я сейчас...

Настя медленно покачала головой. Она глядела так, будто поняла про него что-то новое.

– Лезь, – повторил он.

– Я тебя подожду, – сказала она, не сводя с него глаз.

Теперь он сначала перебрасывал наверх сумку, а затем подтягивался сам. Так было медленнее, но вернее. Настя, успокоенная, молча двигалась рядом. Они одолели последние камни гряды – дальше, будто все предыдущее было лишь мукой сна – дальше открылся плавный, поросший травой склон, а за ним – знакомые очертания Кок-Кая, но теперь так близко, что хотелось смеяться. Тучки, в которых громыхнуло недавно, разбежались – и солнце дарило миру свою благодать.

Перевалили через хребет, и отсюда, с северного его склона, взору предстала огромная долина, пронизанная вечерними лучами. Она была совсем иной, чем несколько часов назад, когда Кашин пытался написать ее. Долина была воплощена темно-зеленым массивом Святой горы и патетическими зубцами Сюрю-Кая и походила на золотое руно, распятое на солнечных спицах. Каждое дерево светилось, как золотой завиток. Это был триптих – явление флоры в золотом окладе земной плоти и света.

Спуск плавно подносил их к этой проступающей во всех подробностях картине. Даже камни, которые они вынесли с собой, потускнели перед ней. Однако дочь боролась за каждый осколок:

– Пап, смотри, ну, а этот-то мы возьмем?

Камни лежали у ног серой безликой грудой.

– Зачем нам столько, – говорил Кашин, – я не донесу. И вообще в жизни надо довольствоваться малым.

– Мы подарим их нашим друзьям.

– У нас здесь нет друзей...

– Будут, – с интригующей уверенностью сказала Настя.

Неподалеку от дома на пустынном плато под названием Тепсень, где тысячу лет назад было городище, они встретили своих соседей – двух молодых женщин и подростка, прогуливающего на поводке маленькую хозяйскую собаку.

Жильцов в большое привольное хозяйство, принадлежавшее тучной старухе Марии Кузьминичне наехало немало, но все они почти не мешали друг другу, сталкиваясь разве что возле общего холодильника да уборной. Он сделал вид с веранды – раскидистая пышная туя, виноградная лоза и палисадник, за которым под оранжевой черепичной крышей голубела стена соседнего дома. В ту же ночь, проснувшись от хруста гравия за стеной, Кашин увидел в лунном свете голого мужчину, справлявшего на эту стену свою малую нужду. Луна лепила своим округлым блеском его коротконогое мускулистое тело сатира.

Днем купались, а вечером гуляли по поселку. На соседнем участке, куда была загнана черная «волга», утром перед горой сырого мяса садились за стол семь смуглых, как грачи, усачей, днем оттуда вдоль всей улицы тянулся ароматный чад шашлыков, а вечером усачи сидели в прежних позах, глядя на пустой стол. Однажды Настя затащила Кашина на танцы. Он был ее партнером. Она замечательно двигалась, не спуская с него горящих глаз. Восемилетняя девочка... в ее годы он еще пускал из окна мыльные пузыри.

В тот день после похода на Кара-Даг поужинали рано. Усталость дала себя знать – Настя мгновенно уснула, да и сам Кашин впал в забытие. Очнулся он, когда за занавесками было темно. За стеной раздавались приглушенные женские голоса. Одна из женщин что-то увлеченно рассказывала, и сдавленно, будто едва сдерживаясь, похохатывала. Этот конспиративный смех, уже и не смех, а то ли кашель, то ли плач, был столь азартен, что Кашин невольно улыбнулся.

Смех приблизился, смолк, скрипнули камешки под ногами, и женский голос со значением произнес:

– Дима, ради бога, простите, если мы вас разбудили...

– Я не сплю, – отозвался из темноты Кашин. Оказывается, его уже знали по имени.

– Дима, у вас случайно не найдется сигарет?

– Найдется, – сказал Кашин, благодарный за это дважды и притом тепло произнесенное «Дима», словно таким образом его вырывали из стойкого одиночества, предлагая взамен внимание и участие.

Не включая света, он нашарил пачку, граненый параллелепипед тяжелой зажигалки и поспешил наружу. Сердце его билось учащенно.

Возле дома в позах легкого смущения маячили два силуэта.

– Ради бога, еще раз простите, – мерцая белками глаз, встала перед ним соседка – ее загорелое лицо сливалось с темнотой, – ужасно курить хочется, а сигареты кончились. Настя не проснулась?

– Ну что вы... – невпопад сказал Кашин. – Если не возражаете, я тоже покурю с вами.

– Ой, здорово! – Соседка, ее звали Людой, озарилась, будто его общество было неожиданной наградой. Подруга Люды промолчала.

Втроем они прошли по хрупающему гравию и сели у фасада за небольшой круглый стол, покрытый холодной пластмассой. Тут уже сидел Людин десятилетний сын Боря, держа за передние лапы хозяйскую собачку по имени Чопик. Чопик скорее из вежливости повиливал хвостом.

– Уф! – с наслаждением выдохнула дым Люда. Подруга тоже закурила.

– А этот усатый, который тебя приглашал, – возобновляя разговор, снова оживилась Люда, – ты его не узнала? Он же на базаре, грушами... Днем нас ободрал, как липок, а вечером на эти же

деньги... шампанским... Как он представился? Директор турбазы? – И она снова заразительно прыснула от смеха.

Иветта, так звали ее подругу, по-прежнему молчала, склонив голову набок и поддерживая Люду лишь слабой усмешкой, словно думала о чем-то далеком, своем.

Из неплотной черноты на свет лампочек высовывались деревья, и звезды едва держались в рыхлой разреженной высоте.

– Теперь хорошо бы на море, освежиться... – продолжала Люда. – Весь порядочный Коктебель принимает ночные ванны. Ну, чем мы хуже?

Иветта, не меняя позы, тихо, незначаше осведомилась, обращаясь к Кашину:

– А у вас нет желания?

В одно мгновение декорацию развернуло, и действие потекло неведомым путем.

Открыв дверь, Кашин на ощупь стянул с никелированной спинки Настинной кровати полотенце, вдохнул теплый сонный воздух и с легким чувством вины перед дочерью вышел.

Втроем – сына Люда с собой не взяла – они вышли за калитку.

Море было прошито рвущейся серебряной ниткой. Бетонные плиты дороги еще не успели остыть и источали тепло. Через несколько шагов все погрузилось в темноту, но и здесь, во тьме, были рассеяны частицы света, и мелкие камешки под ногами, иссохлые заросли колючего кустарника, крутые обрывы в складках оползней, – все было зримо.

Захрустела, разъезжаясь под ногами, галька. В круче затемнели пещерки, вырытые любителями мыльной глины – кила.

– Вот здесь дно совсем без камней, – раздался голос Люды.

Далеко на набережной светили отдельные огни, и их тонкие лезвия покалывали молчащую гладь бухты. Еще дальше, между едва различимыми очертаниями холмов, посверкивало ожерелье поселка Орджоникидзе. Небо обволакивал звездный дым, и сияние пронизывало землю, воду и воздух.

Рядом раздавались голоса, звучал смех. Коктебель и вправду купался. Кого-то звали – видимо, заплыл слишком далеко, слышались переборы гитары, и юношеский глуховатый тенорок негромко, для своих, пел знакомое: «Давай, брат, отрешимся, давай, брат, воспарим...»

– Так что? Раздеваемся? – бодро спросил Кашин, скидывая брюки. Оставшись в плавках, он направился к воде и тут обнаружил впереди два нагих, почти слитых с тьмой силуэта. Поколебавшись, он скинул плавки и пустился за ними. Впереди он видел Иветту, ее поднятые над водой руки, светлую поперечную полосу от лифчика на смуглой спине, крутой изгиб бедер, которые толчками раздвигали воду, загоравшуюся слабыми огоньками потревоженного планктона. На ее загорелых ягодицах был различим узкий треугольный след от снятых трусиков, и это волновало.

Не умеющая плавать Люда остановилась, зайдя по пояс, а они поплыли.

– Какая вода! – раздалось им вслед. – Чудо! Парное молоко!

– Не сказал бы, – усмехнулся Кашин.

– Ах! Ух! – доносился до них ревнивый Людин голос, чтобы помнили о ней.

Неслышно, они продолжали плыть во тьму.

Впереди показалась черная округлая тушка, высоко лежащая на воде.

– Что это? – спросила Иветта.

Кашин решительно подался вперед:

– А... буюк.

– Ого, мы уже далеко. Ну что – обратно? – В ее голосе прозвучала неожиданная солидарность.

– Еще немного...

– Вы же замерзли... – Но сама продолжала прилежно плыть вперед.

– Ну, хватит, – сказала, наконец, она и повернулась к нему, аккуратно держа голову над водой, чтобы не замочить собранные на затылке волосы. – А то я, кажется, тоже замерзаю.

Стало как будто светлей. Над темной седловиной между Святой и Сюрю-Кая сияла небольшая луна, и в диковатом абрисе Сюрю, похожей на гигантский плавник, разрезавший плоть земли, угадывались запрокинутые в небо, спящие профили киммерийцев, пращуров этих мест.

Теперь Иветта и Кашин плыли рядом, невзначай касаясь друг друга и не сводя взгляда с аспидных гор, серебряной луны и неба, задымленного бледной звездной пылью.

– Дно... – разочарованно сказал Кашин, первым коснувшись песка.

– И правда. А где наша Люда?

– Это вы? – спросила та, плеснув в темноте. – Я уже стала беспокоиться.

Иветта поплыла к ней, а Кашину показалось нелепым крутиться возле них – он двинулся к берегу. Холод окончательно стянул его мышцы, зубы стучали.

Он растирался полотенцем, когда женщины вышли из воды. Иветта остановилась возле своей одежды в трех шагах от него. Маленькие упругие груди, затемненный, скорее всего подстриженный, лобок... – ее было хорошо видно в свете луны, но даже если она знала об этом, в ее движениях, когда она проводила полотенцем по груди, бедрам, животу, между ног было чуть вызывающее спокойствие натурщицы.

Все, что было затем – как шли, как сидели и курили за столом возле дома и говорили, говорили, легкость тела и какое-то ликование в душе, – все это, казалось, так и останется в этом единственном вечере и больше не повторится никогда, но на следующий вечер случилось то же самое, и на следующий – опять...

Однако Иветта по-прежнему жила своей посторонней, скрытной жизнью, и часы, проведенные пусть не наедине, но все же рядом с ним, ничего не изменили в ней. Она не сделала поправки на его соседство – даже выражение ее лица, когда она случайно сталкивалась с Кашиним, оставалось ровным, приветливо-равнодушным. Впрочем, случайных встреч больше не было, потому что отныне Кашин пролагал все свои маршруты с единственным расчетом – пересечь ее собственный путь. Так он узнал, когда она встает и когда завтракает, когда уходит на пляж и когда возвращается, когда – непреложный послеобеденный сон, а когда – походы на базар и в магазины, – но все это с кем-то, без него, да так, что ему и не подойти. И только по вечерам она вдруг снова начинала узнавать его, взглядывала чуть внимательней, отвечала и могла улыбнуться.

Но еще засветло были прогулки на Тепсень, поросший колочей травой и полынью. Раза два он тоже ходил – здесь были Иветта, Люда с сыном Борей, ни на шаг не отходившим от нее, собачка Чопик и Настя, привязавшаяся к женскому обществу с огорчающей Кашина страстью. Отпустив ее с женщинами, сам он чуть погодя поднимался на Тепсень, раскладывал походный стульчик и, выбрав направление, принимался за акварель. На закате, как правило, скромном и торопливом, море приобретало неожиданные цвета, холмы, окаймляющие бухту, плавно покачивали горизонт, и даже от Кара-Дага – непристойно развороченной каменной плоти –

оставался умиротворенный силуэт – синий, лиловый, фиолетовый... Или, развернувшись на запад, Кашин писал ту невысокую гору о двух вершинах, за которую, выжигая в ней ультрамариновую кромку, садилось солнце. Отроги Сюрю-Кая обугливались от бьющего из-за них оранжевого света, и в глазах на ослепленной сетчатке долго не истаивали черные точки солнца.

Нигде не работалось так хорошо, как здесь, – может быть потому, что вдалеке, за увалами и полями соломенного цвета шли по тропе, меняясь местами, несколько фигурок, и, приглядевшись, можно было различить Настю и Иветту. Они шли вдоль его акварели, шли, не приближаясь к краю, отчего она становилась беспредельной. Ему казалось, что они тоже видят его через эти иссушенные пустоты минувшей жизни, и сознание соучастия в едином времени и пространстве, соучастия явного и зримого, как-то по-особому связывает их.

Иногда он поджидал эту маленькую группу, в которой было двое близких и дорогих ему существ, раскладывал перед ними на вытоптанной траве новые акварели и говорил:

– Ну, хвалите...

– Уж, обязательно и хвалить... – делала Настя гримаску, но сама ревниво следила за склоняющимися лицами.

Иветта изучала его наброски дольше, чем Люда, в уголках ее губ возникала готовность что-то сказать, потом она молча взглядывала на Кашина и отходила в сторону. Она будто собирала о нем информацию для некоей неведомой цели.

Он любил эти возвращения с Тепсеня – в наступавшие сразу сумерки. Право жить, дарованное удавшейся работой и готовность поделиться удачей со стекающей к морю толпой столь явно преобладали над хандрой и смутой, что казалось – так будет всегда. Словно для этого нужен лишь талант и хотя бы немного свободы.

Однажды таким вот вечером Иветта подарила ему цветок – Кашин только что вернулся с этюдов и гремел умывальником.

– Вот вам за ваши труды, – протянула она ему незнакомое растение с четырьмя удлиненными белыми лепестками, раздвинутыми попарно вверх и вниз. На стебельке, между регулярно расположенными короткими листиками торчали шипы. – Только не уколитесь. Это, кажется, каперсы.

Подарила при всех и оттого чуть небрежно.

Цветок он поставил в толстый граненый стакан и любовался его холодной цветовой гаммой с повторяющейся в каждой грани ножкой, бесстрашным разворотом лепестков, между которых призывно высыпала нежная метелка тычинок. Рядом созревал еще один бутон – острый и крепенький на ощупь.

Позднее, снова плывя рядом в ускользящей, словно тело отталкивало ее, черноте, Кашин проглотил ком в горле и сказал:

– Давайте на «ты».

Кашин познакомился с со своей будущей женой на втором курсе института, а на пятом они отнесли заявление в ЗАГС. Матушка его была против этого брака, усматривала в действиях Ольги голый расчет – получить ленинградскую прописку – и после тяжелых объяснений Кашин переселился к Ольге в общагу. Жили в тесной, но отдельной комнатухе, через год родилась дочь, и они стали снимать квартиру. Хронически не хватало денег, хотя работали в четыре руки: он – в солидном издательстве, она – на дому. На лето Ольга уезжала с дочкой к себе на родину – в Тулу, где у ее родителей был свой дом, и одно время даже возникала идея переехать туда, тем более, что Кашин, не говоря уже о Насте, был у них всегда желанным гостем. И издательство там было – тоже крупное и солидное, где к столичным художникам относились с соответствующим пиететом. Но Ольга сама воспротивилась – провинция, ни одного интеллигентного лица. Не для того она завоевывала Питер... Когда Насте исполнилось три года, ее отдали в детский сад, и Ольга наравне

с мужем потянула ляжку – у нее была цель: красиво одеваться, ездить в собственной машине, иметь квартиру и дачу. Она была практичнее мужа, тут и там заводила полезные знакомства.

Вскоре они обзавелись двухкомнатной кооперативной квартирой, а спустя год год – шестью сотками в садоводстве, на которых мечтали соорудить нечто фундаментальное. Нужны были деньги, много денег, время уходило на их зарабатывание, но красивая жизнь все не наступала. От вечной усталости у Ольги бывали депрессии – тогда она рвала эскизы, плакала, лежа лицом к стене, забывала сготовить обед, взять Настю из садика, и, вернувшись со службы, Кашин бежал за дочерью, а потом – по магазинам. Он считал жену талантливой себя.

Был ли он с ней счастлив? Да, только давно, там, в общежитии с одной туалетной комнатой на весь коридор, постоянной занятой с двенадцати до двух ночи, потому что это было время до – и послелюбовных омовений. У них с Ольгой была огромная постель на древесностружечной панели, и они тоже почти каждую ночь занимались любовью; ранним же утром Кашин часто просыпался от любовного голода и осторожно овладевал сонной, вяло сопротивляющейся Ольгой. Это сопротивление сквозь забытие невероятно возбуждало его. Потом она снова проваливалась в сон, а он, благодарно и умиротворенно полежав рядом, вставал и, стараясь не шуметь, собирался на работу. Наверно, это и было счастьем – миг, когда он выходил легкий, почти невесомый, из дому и вдыхал утренний солнечный воздух, пахнущий снегом или цветущими липами, с мыслью о любимой женщине, спящей в сумраке зашторенной комнаты, и о работе, которая ждет его.

С появлением Насти Ольга резко изменилась – любовные утехы ушли для нее на второй, на третий, на десятый план. Теперь она допускала его до себя редко, и только когда ей самой было нужно позарез. Они давно уже спали отдельно – так гигиеничнее, считала Ольга. Она вообще была помешана на чистоте. Не красавица, она, однако, отлично усвоила столичный стиль и могла выглядеть вызывающе броской. Кашин не раз перехватывал хорошо ему знакомый беспокойно-тоскующий мужской взгляд, направленный в ее сторону. Но он ее не ревновал – она не давала к этому ни малейшего повода.

Она ушла вдруг и сразу. То есть, сначала она уехала с делегацией на международную книжную ярмарку в Болонью. А спустя две недели по возвращении делегации и пропажи Ольги, – он лишь знал, что «этим вопросом занимаются специальные органы», – спустя две недели раздался телефонный звонок из Рима, и она, живая, и какая-то деловито-непреклонная, с выключенными чувствами, спросила у него про Настю и сказала, что остается на Западе. «Что, навсегда?» – глупо спросил тогда Кашин.

«Невозвращенка» – это слово теперь везде следовало за ним, прилипло к нему. Нет, не прилипло – рассекло его пополам. И, хотя он выжил, и все его жилы, сухожилия и нервные окончания вроде бы срослись, в глазах его, на самом дне, так и осталось выражение виноватой растерянности. На работе его на всякий случай понизили в должности, сгоряча он было совсем хотел уйти, но матушка отговорила. Она была права – в данной ситуации это было бы равносильно волчьему билету.

Матушка вообще оказалась в те месяцы на высоте – ни слова против Ольги. Сама она разошлась с советской властью еще в сорок девятом году, когда арестовали ее мужа, отца Кашина. Но на дворе был восемьдесят пятый, и Кашина никто не просил покаяться и отречься от жены. В Большом доме, куда его несколько раз вызывали, он только растерянно пожимал плечами, и, похоже, там поверили, что он ни при чем. На последнем допросе ему было брошено: «есть у нее богатый покровитель в Риме»...

История оказалась загадочной и запутанной – про какого-то итальянского коллекционера советского андеграунда. Он познакомился с Ольгой на одной частной выставке, и что там было дальше, неизвестно, только в результате она стала его доверенным лицом. Потом Кашину показали фотографию. Смуглый радостный толстяк, рядом – улыбающаяся Ольга. Это случилось за год до той злосчастной поездки в Болонью. И целый год Кашин не только не знал ничего, но даже ни о чем не подозревал. Нагрянувшее было большой бедой, которую надо было как-то пережить. И Кашин пережил. Насте же поначалу объясняли, что мама в творческой командировке, потом – что она ушла от папы, но не от дочери, и рано или поздно приедет к ней. Впереди Кашина

ждал развод, так, во всяком случае, заявляла ему Ольга, собиравшаяся замуж, но он знал также, что его родительские права гораздо предпочтительней, и уступать Настю не собирался. Когда вырастет – сама решит, с кем ей быть. С тех событий минуло больше двух лет, и все так или иначе улеглось. Настя редко упоминала Ольгу, словно разделив со взрослыми заговор умолчания.

В Галечной бухте остановились. Сизая, по-утреннему чистая галька еще источала прохладу. Утренними были скалы – и та, что вписывала в горный профиль Максимилиана Волошина линию лба и шевелюры. Часто, идя сюда от самого волошинского дома, он следил, как постепенно распадается этот профиль, и знал каждую из слагающих его скал. Там мы видим прошлое, сказал он. Но если пройти назад, то оказалось бы, что целое, имеющее вес в памяти и в сердце – это всего лишь разрозненные, разнесенные во времени бесформенные обрывки и обломки, скрепленные нашей ностальгией.

– Хм, надо подумать, – ответила Иветта, но по всему было видно, что думать ей сейчас не хочется.

Пока он снимал шорты, надевал ласты, вытаскивал из сумки маску с трубкой, Иветта уже плыла к мокрым черным камням, которые окунались в накатывающий вал и снова подымались в матово-серебристой стекающей бахrome. Говоря с Настей, он уже не отрывал взгляда от мелькающей в волнах головы и, зайдя в воду – литую, но подвижную, зеленовато-прозрачную – быстро промывал стекло маски, надевал ее и, прикусив загубник трубки, бросался в пучину... Только тут он осознал, что торопится слишком явно, оборачивался к Насте и, выплюнув загубник, кричал:

– Вода – брррр...

Настя, понимая происходящее, снисходительно махала ему с берега рукой, и он решительно разворачивался в сторону Иветты.

Дно, дыша в такт прибою, все в каких-то веселых белых бабочках водорослей, за несколько взмахов ушло в глубину и смотрело на него издали своими угрюмыми выпуклыми камнями. Он плыл легко и быстро – голова Иветты качалась впереди – и он нырнул навстречу. Ее тело – теплого медового цвета – возникло над ним среди серебряной, неслышно мнущейся фольги, накрывшей море. Он вынырнул рядом, вырвал загубник и, переводя дыхание, кивнул в сторону камней: «Посмотрим мидий?»

Вдвоем они закачались возле уходящей в донные сумерки темной глыбы – округ нее дыбом стояли водоросли, их ржавая грива раскачивалась. Под узорчатым шитьем прятались раковины – створки их были чуть приоткрыты. Он нырнул и, вцепившись в водоросли, оторвал одну за другой три раковины, улавливая их живое мускулистое сопротивление. Мидий было жалко. Они сидели на камне плечом к плечу, раскрыв в аскетической усмешке щели ртов – безобидное братство двустворчатых...

Он протянул ей на ладони трех захлопнувшихся особей – она покачала головой.

– Отпустить? – спросил он и стал запрокидывать ладонь. Мидии медленно упали вглубь, мерно покачиваясь из стороны в сторону. Как они теперь вернутся домой? Вообще, лазают ли они по камням? Когда-то его потрясло передвижение морского гребешка – отчаянное трепыхание скорлупки, клубы донного песка и остающаяся следом канавка...

Настя встретила их взглядом исподлобья – забыли-таки о ней. Прибой усиливался и катал вверх-вниз влажно рокочущие камешки. Мимо тянулись завсегда эти мест. Пятидесятилетний толстяк-коротышка в мятых брюках и майке остановился поодаль и завистливо смотрел на них. Чем-то он смахивал на Ольгиного итальяшку, и Кашин усмехнулся. С момента, как он увидел Иветту, прошлое словно кануло в неизвестность, и он сам себя не узнавал.

Настя тоже, было, собралась купаться, но передумала. Ей не понравилась вода – была слишком свежа, да и прибойная волна становилась небезобидной. Но больше всего ей не понравилось дно. Каменистое она не признавала. Достаточно было только представить его под

собой, да еще в водорослях, чтобы начать тонуть. Приветствовалось только песчаное. С оттопыренной нижней губой дочь в сомнении постояла у крутого уреза и, уронив голову, пошла назад.

– Что ты? – поспешил к ней Кашин. – Боишься?

– Нет. Я не хочу купаться, папа, – быстро сказала она, сдерживая слезы. В этом был и укор, что оставил ее одну, и ревность, и отместка. Кашин подобрался. Присутствие дочери никогда не позволяло ему расслабиться. Вот и теперь надо было сделать что-то быстро и точно, чтобы отвести ее в благополучную сторону.

– А знаешь что? – сказал он тем заговорщицки оживленным тоном, от которого у детей раскрывается рот и округляются глаза. – Давай вместе поплаваем? В масках. Там на дне такие водоросли... как бабочки-капустницы. Помнишь капустниц?

– Помню, – с притворным равнодушием сказала Настя – все-таки восемь с половиной это не пять лет – поддаваясь однако его энтузиазму.

– Так идем? – протянул он руку. И она, взглянув на него посветлевшими глазами, привычно вложила в его ладонь свою.

... Долго пробирались среди скальных обломков – то вверх, то вниз. Крапчатые глыбы поблескивали на сколах кварцем. Из воды торчали каменные стада, и мощный прибой обрамлял их мечущейся пеной. Тупой мыс, как серый форштевень старого броненосца, двигался навстречу белым гребням волн. Среди камней тут и там показывались погруженные в свой досуг туристы, транзисторные их приемники, вытянув в эфир свое серебристое щупальце, улавливали в солнечном пространстве музыку и голоса.

Бухточка перед мысом была взгорблена непрерывным накатом волн.

– Так что, вплавь или пешком? – спросила Иветта.

– Попробуем пешком, – сказал Кашин. – Вы посидите, а я схожу посмотрю. – И, не снимая кед, вошел в воду.

Держась за шершавую, изъеденную морской солью скалу, инстинктивно поджимая живот, когда окатывало волной, он добрался до небольшого грота. Дальше начинался карниз. В тихую погоду до него можно было добраться по грудь в воде – но сейчас волны захлестывали с головой. Кашин поплыл.

Вдоль шершавого, как наждак, карниза развеялась бурая борода водорослей. Кашин ухватился и вылез. Вода ходила вдали тяжелыми темно-синими грудями, а рядом, под ногами, прокатывалась стремительно зеленая, как бутылочное стекло, и вскидывалась султанами пены. Остановившись на самом краю мыса – так, что море воссоединилось в едином беге к берегу, Кашин вдруч почувствовал себя абсолютно свободным и засмеялся.

Настя и Иветта нетерпеливо ждали его.

– Поплывем, – сказал он. – Пешком невозможно. Волна бьет. Еще чего доброго захлебнешься, – подмигнул он Насте. – Вылавливай потом. Удочкой.

– У тебя нет удочки, – сказала Настя.

Он надул детский резиновый матрасик и принялся упаковывать сумки. Впервые их вещи оказались вместе с Иветтиными.

В надувном поясе и лапах Настя легла у берега на матрасик, и Кашин поплыл, держа его перед собой и стараясь избегать волн.

Только однажды их успел окатить слишком рано зародившийся вал, который пошел дальше, вырастая и грозно плеща опрокидывающимся гребнем. Настя ойкнула, и Кашин крикнул азартно:

– Ну как?

– Хорошо!

– Не боишься?

– Нет!

Он оглянулся – видела ли их Иветта, но не успел найти ее глазами – очередная волна закрыла береговую черту.

Огромные волны били в мыс, и Кашин огибал его на почтительном расстоянии. Справа поднялись отроги Кара-Дага – ржавые, в темных подтеках стены, выше – скалистые башни, громоздящиеся над охристо-зелеными зарослями, еще выше – поставленные на ребро острые уступы – то ли плавники, то ли зубья гигантских шестерен, тщащихся в последнем усилии повернуть и опрокинуть в море налипшую между ними мягкую земную плоть. Кашин узнал это место – именно там, наверху, сидел он со своей бездарной кистью. Напряжение упало и, казалось, так можно плыть вечно, с Настей, поодаль от нестрашной громады Кара-Дага, покачиваясь на гладких волнах, не думая о глубине под собой, о прибое, который надо будет одолеть, чтобы выбраться на сушу; казалось, суша не нужна, а только – это плавное покачивание, солнце, нагретый морской воздух, слепящие белые вспышки пены, с судорожной настойчивостью облизывающие мыс...

– Тебе нравится? – спросил он у Насти.

– Угу! – потусторонне откликнулась она, погруженная в свое.

За мысом возникла и стала приближаться Сердоликовая бухта. На берегу было еще пусто – только три человека сидели, глядя в их сторону. Полоса прибоя бешено попирала берег – доносился гул и рокот воды и камней. Переждав на глубине, пока пройдет несколько мощных валов, Кашин крикнул Насте: «Держись крепче! Не отпускай матрас!» – и, ухватив его понадежней, ринулся вдоль накатывающей волны. Чудесная сила, как в сказке, вдруг приподняла их и стремительно понесла к берегу. Пенный гребень обрушился впереди широкой бородой в раскручивающихся, обгоняющих друг друга завитках, и в это раскатывающееся пространство в единственно точный миг Кашин отпустил Настю на легком матрасике, который, мелькнув пленочным желтым днищем, вылетел на берег. Волна еще не успела хлынуть обратно, как Настя проворно вскочила и оттянула матрасик подальше, на безопасное место. Кашин махнул ей рукой и, не дожидаясь, когда его самого опрокинет отливом, ринулся от берега.

Выплыл он на следующей волне.

– Ну, Дима, ты даешь! – восхищенно сказала Настя.

Кашин попросил присмотреть за ней тех, кто добрался сюда еще раньше – двух юношей и девушку – и снова пошел в воду, держа матрасик.

– Возвращайся скорей! – крикнула Настя.

Миновав полосу прибоя, Кашин обернулся. Настя ковырялась на берегу в камнях – искала обещанные сердолики.

Он плыл, глядя на Кара-Даг, который за это время утратил последние тени – был освещен в лоб и растворялся в слепящем мареве. Волны все так же разбивались о мыс, но теперь вдоль него лепилось несколько людских фигурок, посуху перебирающихся в бухту. Другие перебирались вплавь – навстречу Кашину двигались два надувных матраса с подмоченными рюкзаками, рядом среди волн чернели поплавки голов.

За мысом на берегу толпились люди, объединенные каким-то событием. Толпа переместилась, и в центре ее мелькнул человек, держащийся за голову. Когда Кашин вылезал из воды, люди уже расходились. Возле сидевшего на камне молодого мускулистого парня, у которого была на голове кровоточащая рана, стояла Иветта. Она обернулась и посмотрела на Кашина с насмешливой многозначительностью. Парень встал и нетвердо пошел прочь, осторожно касаясь раны лоскутом белой материи. Лицо его было бледным.

– Что случилось? – спросил Кашин.

– Этот молодой человек вообразил себя альпинистом. – Иветта кивнула на ржавый каменный склон. – Ему повезло. Грудную клетку немного ушиб – вот и все. Я сделала искусственное дыхание, массаж... Дойдет. – Она внимательно посмотрела ему вслед. – А рана пустяковая – ссадина.

– Так ты врач?

– Допустим...

– Это замечательно!

Она пожала плечами. А когда уже плыли рядом, держась за матрасик, который успешно нес над водой их сумки, добавила, словно ради истины:

– Ничего замечательного тут нет!

В Сердоликовой бухте уже стояла жара. Ветер пролетал мимо, отсекаемый мощным Плойчатым мысом, который замыкал бухту с дальней стороны. Гремел прибой. Кашин натянул тент, и втроем они собрались на вырванном у жары квадратике тени. Больше спрятаться было негде. Пожалуй, было нерасчетливо забираться в этот накаленный каменный мешок. Кашин с беспокойством посмотрел на Настю – лицо ее было красным с бисеринками пота на переносице:

– Ну что, искупаемся?

Настя отрицательно замотала головой. Она достала книгу и с демонстративным видом улеглась на матрас. Гнев, требующий немедленной расправы, охватил Кашина. Как она себя ведет?! Будто все ей обязаны. Вылитая мать. Но он, заставив себя улыбнуться, сказал:

– Ну и отлично. Почитай пока, а мы поплаваем, идет?

Настя быстро взглянула на него и не ответила. Испытанный гнев давал ему недолгое право не считаться с ней, но и это он отмел – протянул руку, коснулся пальцами ее узенькой пятки:

– Все в порядке, малыш?

Она инстинктивно подобрала ногу и кивнула, зажмурив глаза.

Иветта была уже далеко – и Кашин не сразу ее догнал. Его лапы никуда не годились, только шлепали по воде, и сам он тоже будто шлепал то возле дочери, то вокруг Иветты, не зная, как их соединить.

Качнулось и ушло в глубину дно. Мутная вода, вся во взвешенных частицах поднявшегося к поверхности ила, прояснилась. Длинные гладкие волны катились к мысу. Неподалеку от него они натыкались на невидимую преграду и истрачивали свою силу, закручиваясь короткими гребешками. Там была подводная скала, едва скрывавшая под поверхностью свой плоский, скошенный к берегу верх, покрытый водорослями и колониями мидий. Волна перенесла Кашина через это подводное плато – он сделал в воде сальто и устремился обратно к Иветте, которая предусмотрительно держалась в стороне от скалы.

– Что, поцарапался?

– Нет, что ты! – сказал он, но тут же ощутил жжение на груди. Он опустил лицо в маску под воду – дымная красноватая струйка исходила от содранной на груди кожи. Он виновато глянул на Иветту.

Она укоризненно покачала головой.

– Ерунда, – сказал он. – Надеюсь, запах крови не привлечет акул.

– Одну уже привлек, – хмыкнула она и исчезла под водой. Кашин нырнул следом.

Скальный монолит, освещенный солнцем, уходил отвесно в глубину, и возле его стены висела стая мелких рыбок. Словно повинувшись сигналу, они враз поворачивали свои узкие темные спинки то в одном, то в другом направлении и вспыхивали серебряным блеском. Иветта, приблизилась, заглянула в его маску смеющимися глазами, тронула за плечо и стала подниматься. Волна неслышно опрокинула навстречу водоросли, и просвеченная солнцем вода, серебряное мерцание стаи, бронзово загорелая Иветта, поднимающаяся из голубовато-зеленой глубины, – все это снова наполнило Кашина ликующим ощущением счастья.

Он еще долго нырял с выступов мыса прямо в расщелину между подводных глыб, где вода была особенно чистой, литой и глубокой, и особенно белопенным – ее живое, упругое кружево, и каждый раз, когда он врезался в сумеречную глубину, обнимающую его огромным, свежим, сильным объёмом, он чувствовал ожидание Иветты и, чтобы продлить его, греб, не выныривая, все дальше и дальше, как в детстве, когда, завидев девочку, которая ему очень нравилась, он бежал не к ней, а в сторону.

– Дима, ты где это так? – испуганно спросила Настя, завидев его кровотокающую ссадину.

– Это меня морской скат, – сурово сказал Кашин, – хвостокол. Он бросился на Иветту, а я заслонил ее грудью.

– Ну, уж и скат? – в глазах Насти мелькнуло, что теперь-то она ни за что не полезет в воду. – Что, правда? – перевела она взгляд на Иветту.

– Твоему папе виднее, – ответила та.

Кровь потекла обильнее, и это нравилось Кашину. Хорошо, если бы он действительно был ранен. Чтобы Иветта позаботилась. А он бы, например, продемонстрировал равнодушие к боли. Хорошо бы вывихнуть ногу и идти, опираясь на Иветтино плечо.

Что-то новое, точнее, старое, но давно забытое, происходило с ним. И все из-за нее, из-за Иветты. Он вроде и не старался сохранить привычную независимость в отношениях с ней, чувствуя, что в мужских своих хлопотах выглядит беспомощно, суетливо, почти нелепо, и все, что ему остается – это открыться, склонить голову и ждать знака. Столько дней прошло, как они познакомились, а ничего не изменилось. Даже ночные купания не способствовали сближению, и каждое утро Иветта оказывалось на прежнем непреодолимом расстоянии, – незнакомой юной женщиной со смытым недовольным лицом, как если бы сон был тяжел, а явь – нежелательна. Женщина эта морщилась, вяло переставляя литые стройные ноги, едва прикрытые застиранным халатиком, ее огромные бледно-желтые волосы с выгоревшими платиновыми прядками были небрежно скручены узлом на затылке, она нехотя трогала звякающий клапан ручной мойки, и сколько Кашин ни наблюдал сквозь занавеску, она ни разу, хотя бы из праздного любопытства, не повернула голову к его окну. Вряд ли в этом был обдуманый вызов – она и в самом деле не интересовалась Кашиним. Только однажды днем, столкнувшись с ним на дороге, она посмотрела на него так, как не смотрела прежде – остро, взыскательно, удивленно – и ее бледно-голубые глаза, хранившие сосредоточенность привыкшего к одиночеству человека, неожиданно потеплели. И то, что она согласилась отправиться с ними к черту на кулички, в эту самую Сердоликовую бухту, вселяло в Кашина какую-то безумную надежду.

... Камни накалились так, что босиком нельзя было сделать ни шагу. Солнце стояло в зените, и все пещерки и щели, дававшие тень, были заняты прибывающим народом. Только

переместившись к Плойчатому мысу, нашли наконец тень. Настя, тут же воспрянув от перемен, запрыгала по камням и принесла странное насекомое, похожее на огромного кузнечика. Кузнечик лежал на одном из камней, мокрым после отхлынувшей волны. В немом потрясении Настя держала это желтоватое существо о шести длинных ногах, с брюшком гармошкой и усатой козлиной головкой, на которой смотрели в никуда выпученные глазки. Брюшко еще трепетало, чуть втягиваясь и распрямляясь.

– Он дышит, смотрите, он жив! – воскликнула она.

Но кузнечик не оживал. То, что судорожно цеплялось в нем за этот горячий освещенный мир, было слишком слабым перед холодной стихией тьмы, заполонившей тело. Он уже не имел желаний, чтобы ожить. И только изумление от перехода из одного состояния в другое выражалось в его глазах. Когда брюшко перестало судорожно сокращаться, Настя пролила слезу:

– Его смыло волной, и он захлебнулся.

– Не обязательно, – сказал Кашин. – Может быть, он сознательно принял смерть. Может, у него были на то веские причины. Несчастливая любовь, например.

Иветта с любопытством посматривала на них.

– Нет, – сказала Настя, – он был семейным человеком.

– А разве семейный человек... – в азарте начал Кашин, но осекся.

Жар слабел, уходил в сердцевину каменных глыб. Солнце поворачивало за Кара-Даг, и от прибрежных обрывов ложились новые тени. Раскаленный берег остывал, воздух стал тоньше, прозрачней, в нем рельефней обозначились скалистые склоны, камни, волны. Из-за Тупого мыса, отчаянно раскачиваясь с носа на корму, появился прогулочный теплоход. С борта доносился голос гида. Пассажиров было немного.

– Бедняги, – сказал Кашин, – думаю, там повальная морская болезнь.

Словно услышав его слова, гид внезапно замолчал, и раздалась бодрящая музыка. «Лето, ах, лето!» – пела всем известная певица. Как по сцене, теплоход проследовал от левой кулисы к правой и скрылся за Плойчатым мысом. Кашин и Иветта взглянули друг на друга и засмеялись. Настя поняла их и тоже засмеялась. Чтобы оценили ее понимание, она смеялась громче всех.

– Ну что ты, ну что ты заливаешься? – обернулась Иветта, протянула руку, чтобы привлечь к себе, и Настя охотно и мгновенно перебралась к ней, свернулась калачиком, прильнула, обвила за шею. – Ну что ты смеешься, дочь своего отца, – гладила ее волосы Иветта.

– Я не дочь, я девочка, – проворковала Настя, уткнувшись носом в Иветтино плечо.

Иветта глянула на Кашина из-за ее головы смеющимся глазом. Не вставая, Кашин подвинулся боком к ней и подставил ей под спину согнутые в коленях ноги.

– Так тебе будет легче ее держать, – сказал он. – Удобно?

– Вполне, – отозвалась Иветта.

Он лежал навзничь на теплой гальке, ощущая Иветтино плотное, но необременяющее прикосновение и, поскольку она была занята Настей, мог беспрепятственно глядеть на нее. Ее чистых линий профиль казался бы спокойным и созерцательным, если бы не нежный чувственный подбородок да чуть саркастическая улыбка небольшого слабого рта. Эта мягкая линия с внезапной вибрацией губ и подбородка, похожего на каплю, перетекала в невысокую, но точной лепки шею, а волосы, забранные наверх, придавали всему Иветтиному облику несколько манерную горделивость.

Массив, скрывающий теперь от них солнце, был цвета сепии. В его срезе на большой высоте виднелись вмурованные в окаменевшую лаву валуны, на месте выпавших – чернели округлые пещеры.

– Может, отойдем подальше? – сказал Кашин. – Страшновато. Вдруг упадет глыбина...

– Сегодня не упадет, – не оборачиваясь, сказала Иветта. – Я чувствую.

– Это нельзя почувствовать, – сказала Настя, опасливо привставая с Иветтиных колен.

– Можно, – сказала Иветта. – Животные за несколько дней чувствуют землетрясение.

– Но мы ведь люди.

– Люди – это тоже животные. Только высшие.

– Но почему тогда я ничего не чувствую? – не сдавалась Настя.

– Ты тоже чувствуешь, что не упадет. Иначе бы не сидела до сих пор у меня на коленях.

– И правда, – удивилась Настя, снова обхватывая Иветтину шею.

– Слезай, – сказал Кашин, – Иветта устала тебя держать.

– Разве ты устала? – спросила Настя, заглядывая Иветте в лицо. – Я ведь легонькая. Всего двадцать пять килограммов.

– Что ты, отец, воду мутишь? – сказала Иветта. – Если сам устал, так и скажи... – И выпрямила спину, будто наказывая его.

Вечерело. Свежий воздух стекал с Кара-Дага по распадкам, и золото неба мешалось с голубизной. Прибой не слабел, но волны больше не казались неукротимыми. В них было не столько напора, сколько инерции. Берег опустел.

– Ну что? – сказала Иветта, – пора?

– Подождем, – сказал Кашин, чувствуя, однако, что их время истекает.

– Подождем еще немножко, – заныла Настя.

Но их голоса словно окончательно утвердили Иветту в ее намерении.

– Пора, – уже самой себе сказала она, и Настя понуро слезла с ее колен. Губы дочки обидчиво надулись.

В бухте почти никого не осталось. Далеко у мыса чернели на воде головы возвращающихся, да по скалистому срезу, распластавшись, медленно перебирались обратно несколько фигурок. Солнце ушло далеко за гору, и в ровном сером свете бухта стала неприютной.

Кашин заторопился. Когда, переправив Настю, он пустился обратно, оранжево освещенные края высоких хребтов потускнели, сливаясь в один тяжелый темный массив. Вода тоже потяжелела – мрак поднимался со дна. На ее поверхности холодно и смутно виднелись бледные тела медуз.

Иветта сидела на берегу. Кашин поднял над водой руку, однако она не обратила на это внимания. Он быстро поплыл ей навстречу, ища ее взгляда, но она словно ничего не видела вокруг, ее лицо было усталым и отрешенным. Он почувствовал себя неловко, будто нечаянно открыл не ту дверь. Иветта смотрела куда-то в сторону, и, казалось, ей стоило большого труда поднять на него глаза. Лицо ее при этом не изменилось.

– Все в порядке? – спросил он оживленно, как спрашивал Настю.

Насмешливая тень коснулась ее глаз, плотно сомкнутых губ. Ответа не последовало. Это была одна из ее характерных реакций – молчание, пропускающее внутрь, в свои неясные глубины, его слова, улыбки, жесты – при обостряющихся ноздрях и чуть заметном, словно осуждающем, коротком колебании плеч и головы. Как после глотка ледяной до озноба газированной воды. Иветта с нарочитым усилием поднялась и скучно посмотрела на него, словно без Насти ей больше не было необходимости притворяться.

– Плыдем? – и бровью не повел Кашин.

– Сумки... – сказала она так, словно предпочла бы их бросить.

Он привязал сумки к матрасу, и Иветта вошла в воду. Когда он, промыв маску, устремился следом, она опять была далеко. Она словно забыла, что он просил подождать, и в одиночестве плыла где-то впереди, толкая перед собой матрасик. Ее голова то появлялась, то исчезала в волнах. Как ни старался Кашин, он не мог ее догнать. Можно было подумать, что она изо всех сил стремится уйти от преследования, – а между тем, она даже не торопилась.

Навстречу Кашину на ночлег двигалась компания – трое мужчин и две женщины. Один из матрасов с рюкзаками издали был похож на двугорбое морское чудовище, другой оседлала, широко и дразняще раскинув загорелые ноги, миниатюрная черноволосая красавица. Плывущий сзади мужчина подталкивал матрас – и она подавалась вперед, как в седле. Он вез ее для себя, на ночное любовное заклятие. Она знала это и была согласна. Казалось, сама ночь надвигается вместе с нею.

... До наступления темноты миновали самую трудную – среди скальных обломков – часть пути и вышли на верхнюю тропу. Поднялась луна, и море замерцало внизу мелким рассыпчатым блеском. Далеко впереди светились огни Коктебеля. Мягкий легкий ветер кружил над тропой, принося то дух морской влаги, то сухое, пахнущее камнем и пылью, тепло Кара-Дага.

Утром женщины ушли мыться в санаторий. Кашин охотно отпустил с ними Настю. Они долго не возвращались – он успел сходить на рынок и потом сидел, глядя в книгу и прислушиваясь к шагам во дворе. Смысл строк не доходил до него. Он поднял глаза и не сразу понял, что же произошло. Ему показалось, что в комнате стало светлей и просторней. На столе в граненом стакане на стебле, аккуратно с двух сторон утыканном шипами, расцвел второй бутон.

Четыре белых узких распавшихся лепестка еще хранили на себе влажные утробные складки, а стайка желтоголовых долгоногих тычинок приседала в горделивом поклоне. В этом каперсе соединялись образ Иветтино лица и ее жест. Это был тайный сигнал, подбадривающий надежду.

Женщины принесли «пепси-колу», позвали Кашина, и он сидел вместе с ними на открытой терраске дома, принадлежавшего хозяйкиной дочери. Напиток был легкий, прохладен и шипуч, и из темного закутка Кашин радовался Иветте, ее светлому похудевшему лицу, ее абрису в солнечном зеленом просвете. Ее обычно аскетически сжатый бледный рот сегодня дышал покоем, а два высоких мыска верхней своенравной губы выражали кротость. Вымытые вьющиеся волосы падали золотой пышной рекой, бесшумным водопадом в ореоле брызг. О ее волосах был отдельный разговор – о волосах как самостоятельной жизни и красоте.

– И наградил же бог! – обронила Люда с отдаленным намеком на неразборчивость Творца...

Оставив их, Кашин отправился на этюды. На Тепсене дул свежий ветер. Он приносил запах костра и бляение козы. Поднявшись на бугор, Кашин обнаружил и брошенный костер и одинокую козу, привязанную к кольшку. Коза, замолчав, вопросительно взглянула на Кашина, словно ожидая от него перемен в своей парнокопытной судьбе. У нее были безумные глаза с дьявольским вертикальным разрезом зрачка.

– Прости, милая, – сказал Кашин, содрогнувшись от этого взгляда и стараясь преодолеть неприязнь к козе, – я не могу тебя отвязать.

Коза, словно поняв его, снова потусторонне заблела. Кашин пошел дальше, пнув догорающие головешки. Что-то сломалось в нем, и он боролся с желанием повернуть назад. Нашел наконец подходящее место, расположился, но работа не заладилась. Похоже, он не знал, что ему самому нужно. Он пришел, чтобы просто что-то поделать. Как всегда. Но не было ни задачи, ни цели. Знакомые горы стояли перед ним картонными силуэтами. Он испортил несколько листов торшона. Дилетантская мазня. Просто ему все это больше не нужно. Он высказался и потерял связь. Что ж, можно и так. А можно иначе – юбка заслонила горизонт. Только юбка у него теперь и получится – на крутых ягодицах. Впрочем, юбки пока не было. По крайней мере, при нем. Был халат и были джинсы. Вот и написал бы джинсовую картину в стиле фотореализма.

Кашин почувствовал себя старым и лишним, с обветшалым комплексом любви и вины. А между тем все на глазах становилось иным, рассчитанным на реакцию простейших, у которых для восприятия лишь усики да волоски на концах многочленных, с хватательной функцией, лапок. А для насекомых, как известно, главное – это фактура. Это поле, по которому они бегут за добычей. Вот почему им так важно, чтобы окружающий мир был прописан подробно как под лупой – со всеми этими прожилками, ворсинками, морщинками, чешуйками, бородавками, язвами и шипами, со всей этой безумной копошней в малом, ничтожном, дабы никто в низменном восприятии не поднял головы, где над нею уже занесен сачок Главного торговца жизнью.

Кашин с ненавистью скомкал бумагу и закрыл этюдник. Ветер по-прежнему раздувал оранжевый огонь в разбросанных пепельных головешках – они потрескивали. Едкий дымок уносило за бугор. Блела коза, как напоминание о невозвращенном долге. Она выела всю траву вокруг своего колышка и снова взглянула на Кашина глазами проголодавшегося дьявола.

– У меня с собой только акварель, – сказал Кашин, – но ты это есть не будешь.

На обратном пути он набрел на небольшую в размер полутораспальной постели выемку, гладко выстланную прибитой сухой травой. Усмехнувшись, Кашин постоял, примечая место, и повернул к дороге. До нее был тридцать один шаг.

Укладывая Настю спать, Кашин торопился, а она как нарочно просила то одно, то другое, а потом вспомнила, что еще не сбегала по-маленькому, и он, нетерпеливо сопровождал ее, переодетую в длинную ночную сорочку, до будки и ждал перед дверью, освещенной выведенной наружу лампочкой синего света.

– Ну, все, малыша, – наклонялся он к ней, принимая ее прощальный, в щеку, поцелуй. – Спи.

– А ты будешь здесь? – спрашивала она.

– Да-да, – говорил он, выключая свет, и сам ложился на свою кровать поверх одеяла.

– А почему ты не раздеваешься?

– Ты же знаешь, что мне еще рано. Я еще пойду покурю, потом мыться и так далее. – Кашин старался никогда не врать дочери, и это растяжимое «так далее» позволяло ему оставаться в рамках принятых на себя моральных обязательств.

– Тогда ты подожди, пока я засну, – говорила она, и через пять минут Кашин улавливал установившееся дыхание ее сна.

Она спала, и он был свободен для ночных свиданий. И все же, оставляя ее одну, он каждый раз испытывал смутное чувство вины, которое не удавалось заглушить. Ну да, его потянуло к женщине... Но ведь, похоже, Настя и сама к ней тянется. Тогда почему ему кажется, что он предает дочь. Бред какой-то.

И вот они снова плыли рядом в шелковую скользкую тьму, оставив позади Люду, и Кашин острее обычного ощущал свою наготу, открытую разверзшейся внизу бездне. Как если бы оттуда шла угроза его мужскому началу, столь беззащитному сейчас перед лицом неведомого – как наживка или приманка.

Каждый всплеск озарялся бледным фосфорическим светом, и было непонятно – то ли это свечение воды, то ли отражение береговых огней.

– Интересно, видно ли что-нибудь под водой, – сказал Кашин, – Я нырну, посмотрю. Не возражаешь?

Он полагал, что обязательно увидит ее, и греб к ней в черном гулком мраке с нарастающим волнением, будто погрузившись в собственную тьму. Но вместо тела Иветты он различил лишь машущие разорванные блики.

– Ничего не видно, – вынырнув, разочаровано сказал он.

У Иветты было спокойно-лукавое лицо.

– Плечи мерзнут, – сказала она. – Поплыли назад.

– Подожди, я согрею, – сказал он. – А то еще судорога схватит.

– Ты плохо знаешь физиологию, – сказала она, но не уклонилась, когда он стал растирать ее гладкую русалочьи-прохладную кожу.

– Ты меня топишь, – как-то вяло, уступчиво добавила она, словно не возражала против происходящего.

– Прости!

Он погрузился с головой в воду, коснулся ладонями ее ускользящих обнаженных бедер, толкнул от себя вверх, к берегу.

– Сам не утони, – услышал он, вынырнув, и понял эту реплику как поощрение своих действий.

– Постараюсь. Только я тоже мерзну, – сказал он. – Поможешь?

– Пожалуйста...

Они уже ступили на дно, выпрямились – воды было по пояс. Иветта положила ему руку на плечо и ее пальцы словно нехотя пробежали по его лопаткам и заскользили вниз.

– Помру от удовольствия, – пробормотал он.

Но она уже убрала руку.

Вернулись к дому, сели, закурили, но, на сей раз, разговор не клеился. Молчавшая, что для нее было необычно, Люда, извинившись, как-то слишком явно заторопилась к сыну, и они остались одни.

– Она что, на нас обиделась? – на всякий случай спросил Кашин.

– А что, ты давал ей повод? – в тон ему насмешливо протянула Иветта.

– Никакого! – торжественно сказал Кашин.

– Есть женщины, которые считают, что все мужчины принадлежат им. Стоит только поманить. Так что она как бы подарила тебя мне.

– Принимаешь подарок?

– Не знаю...

Это «не знаю» было для нее характерно. Похоже, с незнанием ей жилось легче.

Они вышли за калитку и двинулись вверх по едва освещенной редкими лампами улице. Свет не доходил от одной к другой, и в черных промежутках дороги словно из засады многозначительно возникало небо. Поселок спал бурно и внезапно, как набегавшийся за день ребенок. Редкие прохожие протекали мимо, как глубоководные рыбы, которым нечего сказать, потому что они давно знают друг друга. Зеленоватые жидкие сети деревьев тут и там пропускали свет – он лежал на пыльной земле россыпями оброненной чешуи. От закрытых кофеен и баров, пускающих из-под себя липкие ручейки, душно несло перестоявшей в жаре едой.

Двинулись по набережной возле бездыханного моря, вяло выносившего из тьмы пригоршни пены, прошли насквозь темный парк, над которым небо сменило свой тусклый алюминиевый навес на бездонную промытую глубь. В пыльных облаках густых кустов копошились ежи. Ночные бабочки зигзагами пересекали стеклянные сферы света, в которых теснились дома и деревья. Окраину неба застила черная схватка гор.

Тень кошки метнулась им под ноги, и Иветта прынула назад:

– Тут не пойдем.

Суеверный испуг Иветты ободрил Кашина, теряющегося в предположениях.

– Я знаю, где нет кошек, – сказал он.

Дорога привела их к обрыву, за которым была распахнута тьма. Огромная медная луна низко и тяжело висела в глубине этой тьмы и едва отражалась в недвижной воде. Они свернули на тропу и пошли вниз, к берегу. Последние дома поселка с затихающей в них гомозней остались позади, но Иветта не выказывала намерения повернуть назад. Миновали рыбацкую развалюху, огороженную металлической сеткой. Темной тенью из конуры выскочил сторожевой пес и, брякнув цепью, молча посмотрел на них. Под ногами шелкала галька. Медленно, один за другим, будто в сокровенной ласке, омывали плоский берег тонкие пласты воды. Над тропой тянулась высокая, изломанная оползнями стена обрыва, закрывающая вид на Кара-Даг. Возле нее было глухо и душно, будто в тупике. В одной из ближних бухточек им попались запоздалые купальщики. Двое, дрожа, вытирались полотенцем, третий еще плыл, подавая голос. В темноте смутно угадывалось пятно лица. Больше до самой Лягушачьей бухты они не встретили никого.

Луна поднялась высоко, и ее томящий прибывающий свет пал на складки хребта, на уступы разъятого Волошинского профиля, на огромные каменные глыбы, миллионы лет назад скатившиеся к воде.

– Ну, вот мы и дома, – сказал Кашин, когда они спустились в бухту, высоким амфитеатром прибрежных скал отгородившуюся от мира.

– Хорош дом, – сказала Иветта. – Камни, крабы и прочая гадость.

– Прочая гадость – это я?

– Ты не гадость, ты хороший человек. Я это сразу поняла. Прекрасный отец, прекрасный муж... Кто твоя жена?

– Если я скажу, что у меня ее нет, ты ведь не поверишь?

– Само собой.

– И, тем не менее, это так.

– Ты ее бросил?

– Нет, она...

– Тогда мне, кажется, понятно...

– Что понятно?

- Настя...
- А, да. Ей не хватает матери. Впрочем, ей и звезд не хватает. Когда ей было всего два года, она кричала, глядя вверх: «Звезда, иди ко мне!» и добавляла на всякий случай: «Кашу есть».
- О, господи, боже мой, почему у всех так плохо?
- Разве у всех? Ты это про кого?
- Так, ни про кого. Почему ж это, интересно, она тебя бросила? Вроде бы, ты производишь нормальное впечатление. Можно даже сказать – благоприятное.
- Это только произвожу. На самом деле, я псих. Все художники – психи.
- Ты ее, наверно, бил. Напивался и бил.
- Угу. Мольбертом.
- Бедная женщина...
- Не жалеешь ее. Она сама художница.
- А, то есть она вроде тебя.
- Да, в каком-то смысле.
- То есть, поэтому вы и разошлись.
- Вроде того...
- Без всяких вроде. Я хочу знать точно.
- Зачем?
- Сегодня мой день задавать вопросы. Она что, нашла другого мужчину?
- Ну, вот видишь, тебе все известно...
- Более успешного и вовсе не художника? Который восхищается ее работами и обещает ей красивую жизнь. А ты не верил в красивую жизнь, а только в труд...
- Мне нечего добавить...
- И все-таки это как-то грустно. Лучше бы ты был женат.
- Ты предпочитаешь женатых?
- Я предпочитаю счастливых... Ну, рассказывай.
- Что?
- Про себя. Ты страдал?
- Иветта опустила на колени, положила на них руки, словно приготовилась долго слушать.
- Страдал, – сказал Кашин и тоже сел.
- А сейчас?
- А сейчас нет.
- Почему?

– Потому что прошло время. Потому что теперь это уже бессмысленно.

– Значит, страдать надо со смыслом?

– Видимо, да. Пока есть надежда.

– Любопытно... – Иветта склонила голову набок и закусила губу, о чем-то подумав. Затем улыбнулась, подвинулась на коленях ближе к Кашину. – Ничего. Не переживай. У тебя ведь есть женщины, тебя должны любить – такой добрый, заботливый. Только с виду – мрачноватый. – Она протянула руку и пропустила пальцы сквозь его шевелюру: – И волосы у тебя такие же, как ты сам. Кажутся жесткими, а на самом деле мягкие.

От такого прикосновения Кашин почувствовал внутри слабинку и обнял Иветту.

– А это зачем? – спокойно отстранилась она.

– В самом деле – зачем? – пробормотал Кашин. – Как там в «Пиковой даме»: «Я не могу жертвовать имеющимся ради надежды приобрести излишнее». – Он знал свой недостаток – не угадывать момент, когда женщина отдает инициативу, и, чтобы не попасть впросак, тянул паузу, рассчитывая, что все как-нибудь само собой разрешится.

– Прости, не обижайся. Пошли-ка лучше домой. Только дай я тебя, бедного, поцелую.

Она решительно поднялась, качнувшись, будто иронизируя над собой, и, взяв в руки его лицо, быстро коснулась губами его губ. Он не дал ей уйти, обхватил бедра, прижался лицом, чувствуя, как врезается в щеку холодная пуговица на поясе джинсов. Он отстегнул ее – и молния сама поползла вниз, раскрывая замерцавшее тело, которое вдруг ослабело под его руками и стало обвисать, как обезвоженный стебель. Было светло, как днем, но каждый платиновый камешек имел свою глубокую бархатную тень – камешки крутились под коленями, будто хотели выкатить в море, в темную, теплую, гладкую глубь, где все, что началось, там же и кончалось рано или поздно.

– Послушай, уже два часа ночи.

– Так мало...

– Ты обещала вернуться в двенадцать.

– Я тебе ничего не обещала.

– Я тебя люблю.

– Какие страшные слова.

... Неба было не узнать. Оно повернулось над ними, и одни звезды скрылись за краем хребта, а другие вышли навстречу. Два человеческих голоса возникли из тишины и удалились в сторону Тупого мыса. Одинокий камешек скатился с верхней тропы. Вода блестела между валунами и глыбами, как смола.

Путь обратно был дольше. Казалось, что идешь по воздуху – неверными ногами по неверной тропе. Дул ветер и после замкнутого в каменной бухте неподвижного тепла стало свежо.

– Надень, – Кашин снял куртку.

– Оставь, ты простудишься.

– Не хочу, чтоб ты мерзла.

– Мне тепло. Правда.

– Все в порядке?

– Ты о чем?

Улыбнувшись, Кашин поднял с тропы плоский камешек и запустил в смоляную гладь. Камень оставил на ней пять бледных всплесков.

Поселок спал. Уличный фонарь покрывал своим искусственным светом почти весь хозяйский двор. Калитка не скрипнула, и Чопик не проснулся. За домом в темноте звякали крышками от кастрюль ежи.

Ночью, лежа без сна от непроходящего, какого-то светозарного возбуждения, Кашин, вспоминая подробности произошедшего, удивлялся, насколько она, строптивая, независимая, охлаждающая любые лирические поползновения насмешкой, была послушна в его руках, покорна, глина да и только, – и это добровольное ее уничтожение, отсутствие какой бы то ни было инициативы, роль жертвы пробудило в нем немалые силы. Она словно знала, что ему нужно, в чем он больше всего теперь нуждается, и давала это. А нуждался он во многом и, прежде всего, в мужской уверенности, что может дать женщине счастье. С Ольгой, даже в лучшие времена каждому их акту должна была предшествовать довольно длительная прелюдия – при этом перевозбужденный Кашин терял половину своих достоинств, потому что, когда его наконец допускали до заветного, оставшаяся до финиша дистанция оказывалась у него короче, чем у жены, и, разрядившись, приходилось использовать дополнительные манипуляции, чтобы выровнять положение, и все это, когда страсть уже миновала, и когда интимные женские подробности теряли притягательность, возвращаясь к своему анатомическому естеству, в общем-то малопривлекательному. Долгие годы, а невинность Кашин потерял довольно поздно, долгие после этого годы он приучал свой глаз к зрелищу между раскрытых женских лягвей, убеждая себя, что это красиво. Но без собственного возбуждения, без собственного встречного желанья, наделяющего предмет вожделения мало-мальской эстетикой, это зрелище было скорее отталкивающим, если не сказать уродливым, мука для глаз, ночной кошмар. Как бы открытая незаживающая рана, щель в нутро, вход, вымощенный слизью. И если бы не привычка видеть между ног у женщины то, что должно было там быть, он бы отшатнулся, как первый раз, когда на Новый год ему, изрядно выпившему, приятель, подсунил перезрелую, хотя и разбитную, бывшую комендантшу их общежития, большую любительницу молоденьких, которая никак не могла взять в толк, что с ним случилось, и долго мяла своими оскорбительно бесстыдными пальцами его мужской феномен, тщетно пытаясь вдохнуть в него жизнь. С неизбытым стыдом он до сих пор вспоминал, как по ее же инициативе беспомощно кончил ей в рот, и как она потом отплевывалась и отхаркивалась, потому что ей попало не в то горло, а он сам себе казался грязным, постыдным, навсегда и безнадежно падшим... Будь ему тогда лет шестнадцать, а не двадцать, он после таких открытий тут же покончил бы с собой.

Да, вот еще что – в лоне Иветты не было индивидуальности. Оно не восходило к Кашину волной желанья, судорогой нетерпения, оно не обжигало страстью – оно было приветливо и гостеприимно, как пятизвездочный отель. Усмехнувшись этой крамольной мысли, Кашин тут же богобоязненно постарался прогнать ее. Но мелкие бесы продолжали кружить рядом, словно испытывая его чувства.

До обеда так и не распогодилось, к тому же Настя покашливала, и на море не пошли. Весь день Настя играла с маленькой внучкой хозяйки, строя для нее в куче песка кукольную квартиру, дом, город... Чопик, охочий до песка, к которому не подпускали, следил издали за их возней, выбрав к ним всю длину своей цепи. Цепь была рассчитана на большую собаку, и Чопик, шотландский терьер, волочил ее, как кандалы.

Он достался хозяевам от одного из отдыхающих, который бросил здесь маленького пса, никого не предупредив. Чопик нюхал следы протекторов и лаял, пока не осип. Пищу он стал брать только на четвертый день. В его повадках угадывалось пережитое предательство – он был скромненький, неприхотлив и не имел желаний. По ночам его миску вычищали до блеска ежи. Чопик открывал один глаз и снисходительно приподнимал кончик мохнатого хвоста. Он уже третий год жил на дворе, только в студеное время переселяясь на террасу, однако у него сохранились городские повадки, и прогулка была его настоящей потребностью. Гуляли с ним жильцы, их

было много, и они были разные, но ко всем он относился одинаково – с вежливым равнодушием. Даже к Боре, который не отходил от него ни на шаг.

Из прогулок Чопик предпочитал Тепсень. Там он быстро семеня по тропе, волоча за собой брезентовый поводок, останавливался и поднимал маленькую мохнатую морду, пристально вглядываясь в дорогу среди дальних холмов, будто и по сей день на ней не рассеялось облачко пыли из-под знакомых колес.

Чопик оказался хорошим натурщиком, и когда Кашин, протягивая хозяйкиной внучке готовую акварель, спросил: «Кто это?», она неожиданно тут же ответила:

– Те-пик.

Это было первое произнесенное ею слово.

Новость о том, что ребенок заговорил, собрала родню. На Кашина смотрели как на доктора Спока. Мария Кузьминична стала расхваливать его таланты, как бы отпуская ему грехи, наличие которых не могло ускользнуть от ее бдительного ока. Это было кстати. Дабы закрепить статус кво, Кашин подарил хозяйке новоиспеченный этюд. Впрочем, потом пожалел. Что-то он стал разбрасываться.

– Ты куда?

– Пойдем, есть куда.

– А клянусь, что не водил... Ну-ну, я пошутила.

Бледная жесткая трава сухо шуршала под ногами. Пахло полынью.

– Все же куда мы идем?

– Сейчас... двадцать три, двадцать четыре... Считай со мной. Вот оно!

– Зачем? Сегодня я могу дать тебе выходной.

– Мне не нужен выходной.

– Подумай...

– Ты лучше скажи, почему днем тебя никогда не найти?

– Ты искал?

– Увы...

– Поверь, так лучше.

– Ты так говоришь, будто не я, а ты старше меня на десять лет.

– Кстати, мои друзья тестировали меня по Кеттеллу. Есть такой тест. Так вышло, что у меня психологический возраст сорокалетней женщины.

– О, как рано ты сгорела...

– Не смейся. Год назад... Несчастливая любовь... Я решила порвать, но он сказал, что не может уйти. Я довела его до перекрестка, сказала «прощай!» и ушла сама. Потом я узнала, что он все равно бросил семью.

– Ты его любишь?

– Любила.

– Как вы познакомились?

– Пришла по вызову – жена его болела. Когда он подавал мне пальто, у него тряслись руки. Нас обоих так трясло, что жена сразу выздоровела. Но она была беременной... Что это? Петух? Никогда не слышала ночных петухов.

– Знаешь, что он кричит? Он кричит: «Как-тебе-ль»?

– А тебе как?

Со стороны берега вспыхнул прожектор, походил в стороне, вдруг полоснул совсем рядом по сухим стеблям травы над головой и задрожал на месте, будто прислушиваясь к разговору.

В эту ночь Кашин был скорее груб с ней, чем нежен. Впрочем, это можно было принять за проявление чувственности. Да, чувственность была. На сей раз ее пробудил неведомый доселе соперник.

– Так больно, – спокойно сказала она, выпрастываясь из оказавшейся для нее неудачной позы.

«А мне нет?» – подумал он.

И еще он подумал, что понял природу ее послушности. Это было послушание жертвы. Она наказывала себя, она приносила себя на алтарь разбитой любви. Она рассчитывала на то, что боги однажды увидят ее страдания, сжалятся и помогут. Она отдавала свое тело на распятие, но душой была чиста и верна. Сухой ком ее души сверкал на темном небосклоне, как астероид.

– Ты лучше послушай. Искусство – это образ правды, понимаешь? А правда только в реальности. Идиоты думают, что реализм – это когда у собаки четыре ноги. А реализм – это единственный способ жить. И выжить.

– Хочешь обратить меня в свою веру?

– В каком-то смысле – да.

Утро выдалось теплым, с коротким дождем, с мягким светом и чистой, промытой тенью. Иветта сидела перед ним в саду, на коврик, на котором они предавались любви ночью в ложбинке, и казалось, что ткань еще источает ауру их соитий.

Кашин сразу решил, что напишет Иветту целиком, как бы только что привставшую с ложа любви, дабы посмотреть, куда делся ее нежный друг. Поза была удобной, Иветта – терпеливой, разве что усмешка все больше и больше распирала ее изнутри. Но выражение лица Кашин оставлял напоследок. На втором часу он стал испытывать смутное беспокойство, словно требовалось что-то вспомнить, а не вспоминалось. Однако это чувство не мешало работать – наоборот, почему-то казалось, что именно в самой работе кроется ответ на то, что отдаленно тревожило.

Кашин торопливо, широкими мазками написал ступни, лодыжки, нежные колени, вернее одно, нескромно выглянувшее из-под халата и чуть не до лона открывшее бедро, бросил слева и справа от плеч и головы теплые и прохладные пятна, зажег солнцем точную, чудесно вывернутую каждым листом ветвь айвы и принялся за абрис головы в кипе волос, небрежно собранных узлом на затылке.

Замечательный получался портрет – никогда еще не писал он таких портретов! Почти весь в тени – загадочный, обещающий, с оранжевой запятой правого обнаженного соска, с высокой нежной беззащитной шеей, а за спиной – сад, весь в перебегающих оттенках зеленого, желтого, розового и голубого. Жаль, холст мал. Но ничего. В мастерской он напишет крупнее.

На второй день портрет вчерне был закончен. Иветта больше не усмехалась – принимала как должное.

– А что? Ничего! – удивилась она. – Правда, ничего! Можешь, можешь... Смотри, как ты меня. Не польстил. Но хорошо, можно даже сказать, красиво...

Это был счастливый миг – чувствовать себя первотворцом.

– Только все это было, – продолжала она, – Ренуар был и Энгр был, и всякие тицианы с рембрандтами. Я уже не говорю о каком-нибудь там Серове или Климте. Что нового вы привнесли в жизнь, дорогой господин художник? Еще одну девицу с неопрятной прической. В этом ваш реализм?

Она шутила, но вдруг ему стало невероятно стыдно за спесь, уверенность, маститость. Кое-как улыбнулся, окинув картину другим, чернящим взглядом:

– Ну, так я же не гений.

– В этой мысли, похоже, и кроется твоя проблема.

Поздно вечером – та же облюбованная ложбинка, с головой укрывавшая от пограничной службы их сладкий грех. Кроме коврика, для пущего комфорта прихватили и хозяйкино одеяло.

– Ты думаешь, я хороший художник?

– Думаю, что ты можешь им стать.

– Ага, значит, я дерьмо.

– Я так не думаю, если тебе, в самом деле, хочется узнать мое мнение... Я думаю, что ты интересный художник.

– А я думаю, что я дерьмо.

– Оставь, это скучно.

– Ну, правда, я не притворяюсь.

– Это лучше, чем вообразить себя гением.

– Сама говорила – уж лучше думать, что ты гений.

– Не знаю. У тебя все максимы – гений, дерьмо, счастье, трагедия. Не мальчик уже. Впрочем, психология говорит, что мужчина до тридцати остается подростком в своих мотивациях.

– Мне больше.

– Вот и я о том же. Пора браться за ум. Кстати, я послезавтра уезжаю. Тебе оставляю Люду. Она просто ждет не дождется заступления на вахту. Говорит, что я тебя недооценила, что я в мужиках не разбираюсь.

– Ты думаешь, что я с тобой просто так?

– Конечно, а как еще?

– И никакой любви?

– Ну, если есть чуток, то спасибо, мне приятно. А вообще достаточно и половой приязни. Ну ладно, не дуйся. Все это слова. Можно сказать так, можно иначе. Мне хорошо с тобой, вот и все. И хорошо, что мы снова сюда пришли. Хочешь, я тебя там поцелую? Обычно я это не делаю...

... Ветер остался выше. Он протекал над головами, качая сухие стебли травы по краям выемки. А здесь была лунка, ниша, – нет – космическая капсула. И они в ней. И только звезды вокруг.

– Господи, даже испугал меня. Все хорошо? Тебе понравилось? Я хочу, чтобы тебе понравилось. Чтобы ты помнил меня. И не смей спать с Людой – я тебе запрещаю. Поклянись!

– Я могу спать только с любимой.

– Ну, опять перебор...

– У меня такое чувство, что все это не сейчас, а тыщу лет назад. Что я вижу все это глазами того, кто жил тогда. Может так быть, а?

– Вполне. Генетическая память и так далее. Вообще, думаю, есть все, что мы хоть однажды помыслили. Вот почему важно мыслить хорошо.

– Я сейчас мыслю очень хорошо.

– Тебе, что, никогда не делали минет?

Утром Кашин подкараулил ее, но удержал только на миг.

– Собираешься?

Он улыбался, стоя перед ней, но колени его дрожали. Лицо ее было ясным, отдохнувшим – только глаза стали больше, ярче и были обведены лиловатой, вызывающей нежность тенью.

– Ага.

В ее руках был таз.

– Если что-нибудь нужно...

Она опустила веки и помотала головой.

Купил бутылку марочного вина. Выбрал из акварелей «Лягушачью бухту» и сделал для нее паспарту.

– Малыш, что мы подарим Иветте? Она завтра уезжает.

– Уезжает? – у Насти вытянулось лицо.

– Ну да, – сказал Кашин. – Ей нужно на работу.

– А как же мы?

– Как всегда. – Кашин встал и отвернулся к папке с рисунками.

Если хочешь, мы к Иветте приедем в гости. Москва – это же рядом. Ночь в поезде.

– Она не приглашала?

– Приглашала, – соврал он.

– Ура! – по обычаю закричала Настя и тут же осеклась. – Ой, что же я ей подарю? У меня ничего нет!

– Подари свой рисунок. «Каперсы», например. Или где лиса в ущелье.

– Я подарю каперсы. И еще давай подарим ей камень, тот белый, полухалцедоновый, с Кара-Дага.

– Тебе нравится Иветта?

– Очень.

Улучив минуту, сходил искупаться. Не стал спускаться с обрыва, пошел по склону вдоль бетонки. Каперсы отцвели. Их длинные стебли стлались по сухой земле, чередуя иглы и короткие тупые листочки, а на месте цветков образовались мясистые зеленые плоды, похожие на дикую грушу. Некоторые уже растрескались, и из них сочилась малиновая сукровица. Кашин брезгливо пнул – плоды были набиты кровавой икрой.

На веревке сушились немудрящие Иветтины вещицы – самая малость. Она была еще здесь.

Опустились сумерки, и голоса цикад стали сверлить стены тьмы. Когда курили, собравшись вокруг стола, Иветта вдруг привстала, сунулась в темноту и вынесла большого ежа.

– Ой, какой ты, брат, колючий!

Кашин скинул куртку, и в нее перекатили фыркающего зверька.

– Насте надо показать, она меня просила, – сказала Иветта.

– А кого мы тебе несем... – пропела она в полуоткрытое окно.

Настя бросила книгу и соскочила с кровати:

– Ежа?

– Ежа.

Продолжая фыркать, еж забегал по циновке.

– Это что у него, иголки такие? – спрашивала Настя. – Они все перепутаны. Их можно расчесать?

Иветта опустила на колени рядом с Кашиним – от ее волос шел душистый запах шампуня.

– Его накормить надо, – сказала подтянувшаяся следом Люда, как бы осваивая освобождающееся пространство, – а то видишь, какой он сердитый.

В дверях показалась Мария Кузьминична:

– Это что у вас тут такое?

– Ежик, Мария Кузьминична, – бдительно вскинула голову Люда, приглашая разделить всеобщий энтузиазм. – Молочка бы ему... а? Не найдется? Капельку.

– Молочка, молочка, – проворчала Мария Кузьминична. – Для внучки молочко.

Однако тут же принесла в блюдце, и еж, забыв возмущение, стал привычно и быстро лакать.

– Да ты совсем, как ручной, мой маленький, – ворковала Настя.

– Ну что вы все сюда набились, Дмитрию Евгеньевичу мешаете, – сказала Мария Кузьминична. – Идите лучше в сад.

– В сад, в сад! – закричала Настя. – Познакомим его с Чопой.

Чопа к ежу отнесся равнодушно и знакомиться не захотел, а, может, уже был знаком. Ежа перенесли на стол и он стал цокать по пластмассе своими коготками. Он подбегал к краю стола и зависал над пропастью, потом боком бежал дальше по периметру и, видно, был озадачен, что везде одно и то же. Прыгать он не решался.

– Мне его жалко, давайте отпустим, – протянула Настя.

Стол наклонили и еж, судорожно цепляясь за гладкую поверхность, заскользил к земле.

«Так мы держимся за настоящее, хотя оно нам ничего не сулит», – подумал Кашин и взглянул на Иветту. Похоже, она прочла его мысли.

Втроем отправились на вечернюю прогулку. Настя держала за руки Иветту и Кашина и прыгала, изображая маленькую девочку.

Постояли у моря и повернули назад. Кашин помнил, что возле дороги в темноте кровоточат каперсы.

– Давайте еще погуляем, – просила Настя.

– Нет, нет, маленькая, хватит, – отвечала Иветта.

Возле дома Настя заупрямилась.

– Иди, Настя, все, – сказала Иветта, – пора спать.

Настя уронила голову и быстро пошла по дорожке к себе в комнату. Кашин догнал ее.

– Ты что?

Дочь, молча глотавшая слезы, зарыдала в голос.

– Да что с тобой?

Она не могла объяснить.

– Малыш, ты не права. Тебе, действительно, пора было уходить. Не надо навязываться взрослым.

– Да... – судорожно всхлипывала Настя, – я понимаю... Я согласна... Только почему она... не захотела со мной... хорошо попрощаться.

– Пойдем, прощаемся, – сказал Кашин и взял ее за руку.

– Теперь я не пойду... Я вся... за... зареванная.

– Это не имеет значения.

Они подошли к столу, где курили женщины, и Кашин сказал:

– Иветта, мы к тебе. Пойдем-ка с нами. На минутку.

Иветта послушно встала и они втроем вышли на дорогу.

– Настя огорчена, что ты с ней не попрощалась, – сказал Кашин. – По-моему, вы просто не поняли друг друга.

– Да что ты, Настюш, – Иветта опустила перед Настей на одно колено. – Иди ко мне.

Настя подняла руки и прижалась к Иветте. Та что-то шептала ей на ухо. Настя смотрела на звезды и тихо гладила ладошкой длинные распущенные Иветтины волосы. Под фонарем лицо ее, не высохшее от слез, было в темных пятнышках.

Кашин стоял над ними, касаясь обеих руками.

– Теперь все хорошо? – спросила Иветта.

– Да, – прошептала Настя.

– Ну, иди спать, моя родная. Мы еще завтра с тобой посекретничаем.

Небо затянули тучи, тьма стояла плотная, глухая, только фонари на набережной продевали сквозь ночь неровную цепочку. В ее отраженном свете медленно шевелилось море. Когда поднялись на холм, оно вовсе исчезло – и неясно было, что там, во тьме.

Не сразу нашли свою ложбинку – кружили, спотыкаясь о сухие жесткие лохмы травы. С севера тянуло ветром.

– Положи к себе мои заколки, – сказала Иветта, распуская волосы, – только не потеряй.

Расстелили покрывало. Под руку поставили фляжку вина. Под другую – сигареты и спички. Уже возникли привычки – ритуал постоянства. В привыкании проглядывало нежданное будущее. Оно казалось возможным. Оно было везде, во всем – в ее обостренном лице с полуприкрытыми глазами, в ее долго неразнимающихся руках.

– Ты что улыбаешься?

– Я счастлив. Мне кажется, что я с тобой всю жизнь.

– Так надоела?

– Послушай, я давно хотел тебя спросить, почему ты стала врачом? Это выбор или так получилось?

– Выбор? Не знаю. Сначала я на философский поступала.

– Провалилась?

– Нет, ушла со второго семестра. Захотелось чего-то материального, какого-то дела, полезности. Всю эту гуманитарную можно освоить и так – в метро, по пути на работу. Поступила в медицинский. Теперь терапевт-кардиолог. Принимаю в поликлинике, но иногда хожу и по вызовам. Мне нравится ходить по квартирам. Люди в своем доме совсем другие, чем в кабинете врача. Мне это интересно. Наверно, я больше практик, чем теоретик. Кстати, мне не приходило в голову послушать твое сердце. Это значит, что ты здоров.

– Можешь сейчас послушать.

– Я же говорю – ты здоров.

– А сердце болит.

– Это не сердце. Это химия, железы внутренней секреции. Они выделяют ферменты любовного чувства.

– Ты хочешь сказать, что любовь – это химия?

– Научно выражаясь – да.

– Но тогда это ужасно.

– Почему? Как раз наоборот. Это доказывает, что любовь есть.

– Я тебя люблю.

– Вот видишь – заработало...

– Можно, я тебя поцелую, как ты меня, там...

– Лучше поздно, чем никогда.

– Я стеснялся.

– Надо же... Иди ко мне...

Пахло полынью и прохладой пустых ночных пространств, овеваемых ветром. Он то затихал, то снова срывался с места, затевая шорох и шепот вокруг. В четвертом часу обозначились горы, мерклый трезвеющий свет нехотя разъял землю и небо.

– Как быстро идет время.

– Какое счастье, что я сегодня уезжаю.

– Какое несчастье.

– Ты дрожишь? Ложись вот так. Накройся, а то простудишься. Нет, погоди, сначала я, а потом покрывало. Я не слишком тяжелая? Терпи. Зато будет тепло.

– Спасибо. У нас с тобой сходные профессии – ты помогаешь телу, я – душе. Для общества мы могли бы стать полезной ячейкой.

– На общество мне наплевать.

Светало. Через древние холмы тонкими сорванными голосами перекликались петухи. По небу пошла облака, открывая и закрывая бледные звезды.

Вечером проводили Иветту на автовокзал. Домой шли молча. Небо почти расчистилось – в его глубоких, бархатно-синих провалах сияли огромные звезды, и пронзительно-голубой свет качался над верхушками деревьев.

– Что это? – спросила Настя.

– Прожектор. На море. Пойдем, посмотрим, если хочешь.

Дошли в тот миг, когда луч в последний раз оббежал бухту, высветив гребешки волн, будто лица в огромном театральном зале, и погас. Настя повернулась к Кашину и уткнулась лбом ему в грудь.

– Ну что ты, малыш, – обнял он ее одной рукой. – Мне тоже невесело.

Настины плечи дрогнули.

– Не надо, малыш. Ведь главное не то, что мы расстались, а то, что были вместе. Когда-нибудь ты это поймешь.

Она покачала головой.

– Ты говорил, что мы снова встретимся. Значит, это неправда?

– Правда. Я в этом уверен.

Еще два дня Кашину слышался стук колес, будто поезд все проносил мимо него вагоны, и хотя тот, с Иветтой, был уже далеко, вагоны шли и шли, так что еще не поздно было запрыгнуть.

Появились какие-то новые жилички, одна из которых спозаранку столкнулась с Кашиним у туалетной будки, щедро одарив его ясной, молодой улыбкой, – жизнь, де, продолжается... Но для него она остановилась.

Еще пустыней стало во дворе, только в доме и на летней кухне по-прежнему кипели хозяйские заботы, что-то неустанно варилось, маринвалось, переключившаяся из тазов и кастрюль в трехлитровые банки, – зримое свидетельство круговорота в природе, не знающей таких накладок, как человеческая привязанность.

Вскоре от Иветты пришло обещанное письмо. Маленькое, скорее записка.

«Митя, – с зашедшимся от волнения сердцем читал он, – сегодня вдруг стало больно. Проснулась в тихой квартире. За окном зелень и пасмурный печальный день. Подошла к окну и

вдруг резко почувствовала, что не хватает тебя. Странно, ей-богу. Вчера на сердце было еще легко. Я чуяла дорогу, безумно любимую дорогу. Любую, хоть из ниоткуда в никуда... А сегодня вдруг осознала, что она превратилась в огромное разделившее нас пространство». В конце была приписка: «Поцелуй за меня свою чудесную хрупкую Настю».

Он немедленно ответил. Он и не думал, что способен быть счастливым, как младенец.

Лето катилось к концу, и хотелось успеть во всем, в чем не успелось. Настю больше никуда не тянуло, и она предпочитала оставаться дома.

– Надолго уходишь? – спрашивала она утром, помогая собраться, и когда повесив на плечо этюдник, Кашин шагнул за дверь, напутствовала:

– Удачи тебе.

Он шел привычным путем, по набережной, мимо Дома творчества с пожилыми детскими писательницами в белых панамках, отдыхающими на скамейках под пластмассовыми козырьками, мимо как всегда людного шумного пирса и автоматов с вином и пивом, осажденных голой толпой, мимо картинно расположившихся прямо на асфальте молодых мужчин с подружками, на короткую пору своих незабоченных лет изображавших из себя «хиппи», – шел мимо павильонов, откуда в сухой раскаленный воздух вытекал блинный чад, шел мимо тира под вывеской, на которой незадачливый самородок запечатлел досаафовского стрелка с вывернутыми руками и безумным профилем египетского бога Осириса, – шел по мелкой мокрой гальке, поднимался в степь, где начинались холмы... На Кучук-Енишаре, вставшем в полнеба, далеко, на самом ветру возле могилы Волошина темнела одинокая олива. Раньше думалось, почему он выбрал себе это место, – в медленно оползающей глине, в текущей сквозь пальцы зыбкой земле, которую время изрезало вдоль и поперек. Но дорога обогнула холм – Енишар впервые предстал своей скальной основой, и наконец-то исчезла подспудная тревога за могилу наверху, за саму гору – что когда-нибудь она распадется прямо по ведущей наверх людской тропе, переломив пополам плиту.

Далее начинались холмы, которых не доставало в его этюдах. Он решил, что их тоже пора написать, как и мыс Хамелеон с Мертвой бухтой, отчеркнутой глубокой изумрудной полосой. На первом плане был изрытый оползнями овраг сизого цвета и выглядывающие из него деревца. Трудней же всего было передать сам Хамелеон, изрубленный трещинами, серебристо-серый, с охристо-зеленой, ныряющей поверху полоской травы. Поднялся ветер и стал хлестать пылью и каменной крошкой. На резком сухом свете краски казались темными и грязными, но Кашин чувствовал, что видит верно, и потом легко повторит.

Тихая бухта была безлюдна. Береговой ветер гнал воду вспять, и по ее колючей темной поверхности, как судорога по лицу, пробегали тени. Деревья вдоль берега наклонились в неистовом бесшумном кипении. Так уже было, вспомнил Кашин, в самом начале, и то, что сюжет повторился, говорило о завершении цикла. Творческого и житейского. Да, пора начинать новую жизнь. Когда Кашин повернулся, чтобы написать обратную сторону – с холмами – ветер на одном выдохе выстрелил в небо всем, что было в этюднике. Листы взвились, как чайки, и если бы не овраг, их бы донесло до воды. Собрав разбросанные этюды, Кашин пустился к морю.

Хамелеон, угрожающе шурша, осыпался, геодезическая вышка на самом его верху покосилась. Подхлестываемый секущими ударами ветра, Кашин дошел до оконечности мыса и оказался в Мертвой бухте. Здесь и правда было мертво, точнее – тихо и жарко, будто сзади закрылась дверь. За мысом на песчаном берегу, усыпанном у подножия обрыва камнями ржаво-кирпичного цвета, одинокая парочка играла в любовную игру. Под ноги Кашину легла длинная надпись, выложенная из камней. Молодая женщина, отвлекшись, бросила в сторону Кашина лукаво-улыбчивый взгляд и снова обратила его на своего избранника. «Обожаю твой членик» – было написано на песке.

Солнце стояла над Кара-Дагом, и была видна вся его неправдоподобная дымно-синяя громада. Строгость силуэта нарушал лишь Чертов палец, фаллически восставший в золотящийся небосвод.

После проводов Люды с сыном Борей из старых жильцов остались лишь они одни. Люда с Борей вышли на нос теплохода, Кашин и Настя с пирса улыбались им, и Люда, с пристальной нежностью посмотрев на Кашина, загадочно сказала:

– Дима, а все-таки жаль...

Когда возвращались, Настя снова пролила слезу. Рядом с нею бежал Чопик. По его виду нельзя было сказать, что он расстроен расставанием с Борей, который с ним возился больше других, и все же в его равнодушной побеге чувствовалась нарочитость, – видно, он привык скрывать свои чувства.

Перед отъездом в последний раз поднялись на Тепсень, и Чопик потрусил по знакомой дороге.

В примеченном месте Кашин повернул влево, по траве, но Чопик заупрямился и стал. Кашин подергал поводок – Чопик, глядя в сторону, выражал вежливое, но твердое намерение остаться на дороге. Видимо, он боялся колючек. Кашин передал поводок Насте и пошел один. Вот она, знакомая ложбинка. Он постоял над ней, опустил на колени и стал шарить в траве. В ту последнюю ночь они все же потеряли одну из заколок, и Иветта сказала:

– Ну вот, теперь одним поклонником будет меньше.

Он загадал, что если сейчас найдет, то Иветта будет с ним. Но заколка так и не нашлась, и он поспешно отказался от загадывания. Показалась Настя:

– Папа, что ты там делаешь? Чопик убежал!

Чопик не убежал – он просто самостоятельно отправился домой. Но это было на него не похоже.

Поезд уходил из Феодосии ночью, и они взяли билет на последний рейс катера. С утра на море было волнение, волны хлестали до самой бетонной стенки, прогнав всех с пляжа. Надежда, что к вечеру оно утихнет, не оправдалась – волны катились в темноте, выплескивая на подсвеченный берег желто-белесую крутящуюся кипень, и Кашин с тревогой думал о том, как Настя выдержит такой переезд.

Катер качало у пирса, вздрагивавшего от ударов волн. Пассажиров было мало.

– Ой, папа, – сказала Настя, когда палуба ушла из-под ног, – надолго меня не хватит.

– Ничего, думаю, в море будет меньше качать.

Кашин выбрал место у открытого борта, чтобы легче дышалось. Внизу, приподымая катер, катились к берегу водные холмы. Судно легко развернулось, попав на минуту в тошнотворную боковую качку, и тут же, справляясь с ней, устремилось во тьму.

Жидкие огни набережной стали удаляться, и уже не верилось в то, что там было, будто произошедшее Кашин увозил с собой. В полупустом салоне тускло светил дежурный плафон. С левого обращенного к берегу борта, где они сидели, почти не поддувало. От корпуса судна шла теплая дрожь. Настя легла, положив голову Кашину на колено, и он накрыл ее плащом.

Катер взлетал с волны на волну – они проносились внизу с плещущим шипением, как призраки. Черное огромное небо, казалось, тоже было взбаламучено – из его качающейся бездны под козырек потолка заглядывали незнакомые звезды. Редкие огни определяли берег, они стояли то высоко, то низко – мир представлялся совсем иным, чем прежде, и не было в нем ничего, что Кашин умел и знал.

Далеко позади вспыхнул яркий свет, будто взорвалась звезда, и в черноту вытянулся голубой луч. То сжимаясь, то растягиваясь, он бродил по ту сторону Коктебеля, как раз в тех местах, где Кашин занимался любовью с Иветтой, потом вздрогнул, будто догадавшись о чем-то, развернулся, стремительно заскользил вдогонку по акульным плавникам волн и ослепил. На миг Кашин увидел

собственное суденышко – белое от света, застывшее на месте в качании тьмы – и испытал чувство полной беспомощности, когда, скажем, только и остается, что бросить весла и покориться воле стихии.

Но еще более странным было неуклонное возвращение к покою, свету и надежности – когда впереди мокрой россыпью драгоценных камней засияла Феодосия. Ее волшебная шкатулка раскрывалась все шире, отражаясь в черном зеркальном овале бухты. И это тоже осталось загадкой – неподвижно-смоляная гладь воды, как будто огромное существо моря было столь безграничным, что могло одновременно выразить страсть и покой.

Вернувшись, Кашин принялся за работу. Настя пошла в школу. До открытия осенней выставки оставалось полтора месяца, и он спешил. Наталья Борисовна, его матушка, одобрила замысел – показать портрет и натюрморт с каперсами, согласно кивая ему, когда он говорил об энергетике картин, которая в каждом веке, нет, даже поколении, иная, пусть даже исходит от тех же самых предметов. Нельзя, скажем, написать букет сирени, как вчера, не потому, что это уже было, а потому, что сегодня у времени другое качество, оно само исподволь поправит кисть живописца. Правда в искусстве всегда нова и туго свернута, как лист в почке.

Тут Наталья Борисовна перестала кивать:

– Дмитрий, тебе всегда не хватает диалектики – правду все-таки питают корни, прости за банальность.

– Ну да, культура, традиции, это понятно. И все-таки...

Наталья Борисовна, подняв брови, пожала плечами. С ее точки зрения сын всегда зарывался – в этом была причина его растянувшегося на годы полууспеха. Может быть, поэтому из вороха привезенных этюдов она безошибочным чутьем своего рассеянного во времени поколения выбрала акварельные пейзажи, с их подспудной тягой к мирискусникам. Над ее рабочим столом до самого потолка висели осколки того, что в разное время возникало из-под руки сына, еще в старой коммунальной квартире, где ютились в двух комнатках, по которым Наталья Борисовна, предпочитавшая все старое, овеванное временем, до сих пор тосковала. С теми комнатами была связана память о ее муже, отце Кашина, военном конструкторе, арестованном за год до смерти Сталина и вышедшем из лагерей в самом начале «оттепели».

Наталья Борисовна знала три языка, но переводила с двух – английского и французского – на немецком она только ругалась. Она была дворянских кровей, ее уцелевшие после красного террора родственники осели во Франции, и всю жизнь она была готова к тому, что рано или поздно ее арестуют. По иронии судьбы карающая десница пала на ее мужа, с его рабоче-крестьянской родословной. Переводила она прозу и поэзию, и были годы, когда ее заваливали заказами – тогда она с гордостью несла бремя основных семейных расходов. Но были и другие годы, когда издательства словно по мановению волшебной палочки теряли интерес к западноевропейской литературе, и это мучило Наталью Борисовну, больше всего на свете боящуюся быть обузой. Тогда она давала уроки и, болтаясь рядом с бестолковыми учениками, памятливая Настя нахваталась из трех языков. Вообще же работа литературным переводчиком была хоть и адовой, но престижной, – кто еще мог тогда безнаказанно ходить туда и обратно сквозь железный занавес.

О прошлом было много умолчаний, но все же в воспоминаниях Натальи Борисовны то и дело возникали такие фамилии, как Ахматова, Лозинский, Маршак. Ее подруга Татьяна Григорьевна Гнедич, переводчица «Чайльд Гарольда» (к переводу этому она приступила еще в сталинских лагерях) умерла совсем недавно, и потеря была еще свежа. Близких ей по духу ли, по судьбе или по каким-то иным скрытым причинам писателей и поэтов, даже тех, кого она лично не знала, Наталья Борисовна объединяла в одну семью и говорила о каждом с родственными интонациями, непременно называя по имени и отчеству. Когда-то Кашина раздражала эта манера – как поза, как знак ее собственной неудачи, но позднее он оценил значение такого теплого слова издали, взгляда и рукопожатия.

Врачи давно запретили ей поездки на Южный берег Крыма, но каждый раз, если кто-нибудь из знакомых отпраплялся в Коктебель, она просила поклониться праху Волошина и положить от нее на плиту камешек с побережья. «Между прочим, – как-то сказала она Кашину, откладывая книгу воспоминаний Эренбурга, – Илья Григорьевич что-то запомнил – гора Кучук-Енишар, где похоронен Максимилиан Александрович, это вовсе не гора с его профилем. Я прекрасно помню тот силуэт, удивительно похожий, он справа, где Кара-Даг, он обращен прямо к морю, а гора Янычар, она совсем в другой стороне. Такая досадная неточность – я ему напишу». Но, или не написала, или письмо не дошло – так что в дальнейших изданиях, к ее огорчению, ошибка повторилась. Еще она обижалась тогда, что Эренбург столь снисходительно отозвался о дорогих ей акварелях Волошина. В некоторых мемуарах о ней тоже упоминали, и Кашин гордился этим, втайне сожалея, что у него другая, отцовская фамилия.

Портрет Иветты пошел сразу, как в Коктебеле. Запомнив в деталях, которых не было на первом холсте, Кашин мог бы писать по памяти. Она сидела в чудесной позе, подняв одно колено, а другое – опустив к покрывалу, опираясь на руки, заведенные за линию спины. В ее позе не было целомудрия, но лицо было спокойным и отрешенным, а в уголках губ таилось неясное напряжение, готовое разрешиться улыбкой. Кашин мало что изменил – тот же взгляд, разве что чуть мягче и рассеяней, та же диагональная композиция, только размер полотна позволил дописать сад. Ветка айвы снова повисла на первом плане – и так, в зеленом кружении теней и пятен света, портрет стал многозначительней. Сад был исполнен ликующего покоя, а Иветта оставалась иронично -вопрошающей, словно не доверяла, приподнявшись, тому, что произошло с ней.

Забавно, что каждый у него спрашивал: «Это кто?»

Пока Кашин работал, Иветта поощрительно поглядывала на него издали, но когда полотно ушло в выставку, Кашин резко ощутил ее отсутствие. Писать ей он начал еще на юге, но то была всякая коротенькая веселая чепуха с карикатурами. Два письма от Иветты, которые он получил в городе, были невеселы – там было про чувство осени, про выставку в Пушкинском музее, про французский фестиваль кинофильма, где было красиво снято, как занимаются любовью, – при гробовой тишине не шибко избалованного такими лентами зрительного зала, «смешно и грустно». Была и такая фраза: «Может быть, случай еще даст нам когда-нибудь свидеться».

До открытия выставки оставалось десять дней.

Утром наугад он позвонил Иветте в поликлинику. В последнем письме она наконец-то прислала служебный телефон. Добавила, что скоро поставят и дома. Волновался. Фразы заготовил – парад остроумия, но как услышал ее деловой, ни о чем не подозревающий голос, только и смог сказать: «Здравствуй». Слышно было так, будто она рядом.

– Я приезжаю, – сказал он.

– Ты получил мои письма?

– Два.

– Я тебе еще послала. На днях получишь.

То, что она не расслышала его «приезжаю», как бы смирясь с расстоянием, ставшим привычным, а также то, что он увидит ее раньше, чем прочтет это теперь уже необязательное письмо, сделало ее вдруг уязвимой и незащищенной, и он только и нашелся, чтобы повторить:

– Завтра я буду в Москве.

В Москву он прилетел во второй половине дня. На всем пути небо было безоблачным, и под мягким октябрьским солнцем земля была прекрасна. Отсюда, с большой высоты, она казалась возделанной с какой-то особой любовью и мудростью. Что ни являлось там: мост ли, поселок ли, речка, букашечий ли бег машин по синим линиям шоссе, а дальше коричневый запах

убранного поля, еще зеленый многогранник леса в аккуратных квадратах просек, – все это вызывало безотчетную благодарность.

Ждал он Иветту на станции метро у первого, как договорились, вагона. Ему нравилась московская публика, она была моложе, чем в его собственном городе, и он с удовольствием следил за лицами и походками. Он почти не волновался, разве что в первые минуты, когда подходил, но Иветта запаздывала, тем самым даря ему драгоценное время, чтобы подготовиться к встрече.

Хлынул из вагона очередной поток. Как Кашин ни сдерживался, сердце снова толкнулось раньше, и, когда уже вступало в свой ритм, и толпа почти иссякла, он увидел Иветту. Или сначала она его увидела. Потому что шла именно к нему – улыбаясь и не отрывая взгляда. Она была красивее, чем он помнил, и, судя по выражению ее лица, он тоже удивил ее.

– А тебе так лучше, – сказала она.

– И тебе, – сказал он.

– Ну вот, значит, с этим у нас все в порядке.

От чего он отвык, так это от ее московской манеры растягивать слова.

– Прости, я только с самолета, – сказал он, указывая на сумку.

– Что за церемонии, – сказала она.

Она жила на пятом этаже, и пока лифт, потрескивая, неуклонно поднимал их, было трудно перенести невольно сближающую тесноту кабины. Иветта вовсе перестала смотреть на Кашина, и в ее опущенной полуулыбке угадывался отсчет минующих этажей, а рука, упиравшаяся ключом в пластмассовую створку, выражала нетерпение. Загар ее стал мягче и бледнее, и оттого она казалась моложе, а глаза словно раскрылись в полную меру под неярким небом – ни дать, ни взять, русская красавица с золотой косой. Она была в знакомых джинсах, плечи, грудь и бедра облегла вязаная черно-белая кофта с длинным кушаком. От нее чуть пахло медициной, и у Кашина защемило сердце, будто она сама только что выписалась из больницы.

– Вот моя комната, – сказала она, и Кашин вошел...

Было около полуночи, когда он понял, что ему никуда не придется уезжать, и это открытие так взволновало его, что у него началась нервная дрожь. Но Иветта положила свою руку на его, и дрожь стихла. Он опустился на колени перед креслом, в котором она сидела, и, закрыв глаза, прижался щекой к ее сомкнутым ногам, там, где их уже не закрывал короткий халат, в который она переделалась. Другая ее рука принялась перебирать завитки на его затылке, и он замер от того, что невозможность и возможность так легко соединились под ее прикосновениями, а еще – от пронзившей душу уверенности, что ничто в мире не сможет сейчас этому помешать.

Спали они мало, а если в коротком сне Кашин забывал о ней, то, очнувшись в темноте, вдруг ощущал словно молчаливый укор и снова слепо подавался к ней, спящей и неспящей, все время ждущей его, словно можно было сделать так, чтоб уж совсем не расставаться, потому что при каждом расставании у нее вырывался глубокий вздох утраты.

– Я ждала тебя, – сказала она в эту ночь. И еще сказала: – О, Господин Великий Случай...

На рассвете, когда он раскрыл глаза, его поразил в сумраке комнаты сквозной гранатовый цвет штор, показавшийся ему странно знакомым, а когда он снова проснулся, было совсем светло, шторы отдернуты, в полуоткрытую на балкон дверь влетал из-за соседних домов неясный шум проспекта, да воробьи чирикали с летней беспечностью.

На полу лежала записка:

"Делай, что хочешь. Буду в четыре. Можешь приготовить обед – все в холодильнике.

Целую".

Кроме первой фразы, все остальное могла написать жена. Но и первую тоже могла написать жена. Кашин сложил записку и спрятал на память во внутренний карман куртки, но тут же достал и положил на стол. В бутылке оставался глоток вина. Выпил, глядя на записку. «Делай, что хочешь». Только теперь он уловил лукавый ее смысл, по сути отказывающий в том, что подразумевалось. Понимала ли она это? Если и не понимала, то инстинктивно бросала вызов обстоятельствам, которые предоставляла Кашину взамен самой себя. Чтобы он сам открыл, что без нее не хочет ничего. Чем больше он вдумывался в эти слова, тем емче казалось ему содержание, раскрывающееся за ними – вся система их будущих отношений: свобода выбора и в то же время отказ от нее, и в самом этом отказе – вся безмерность свободы. Потому что человеку нужна не свобода как таковая, а возможность распорядиться ею.

– У тебя новая sweet-heart? – проницательно глядя на его вчерашние сборы, спросила мать. Та самая, с портрета?

– От тебя не скроешь...

– Да уж... Только слепой не догадается. Я, конечно, не имею права вмешиваться, но, по-моему, ты не вовремя уезжаешь. – Наталья Борисовна сняла очки и поправила седые волосы. Эти два движения всегда следовали одно за другим. – У тебя выставка на носу. А вдруг ты понадобишься? Ты как-то неуважительно относишься к своему труду. Я бы на твоём месте...

– Мама, я свое дело сделал. Все. Лучше, если меня здесь не будет.

– А что я скажу, если позвонят?

– Так и скажи – уехал к любовнице, к жене, к невесте, как хочешь.

– По-моему, я не заслужила такого тона...

– Ради бога, прости.

Ко всем женщинам сына, в том числе и к бывшей жене, Наталье Борисовна относилась с приветливым неприятием, словно давно пришла к выводу, что подходящей пары ему не найти, и воспринимала сыновни амуры, как знакомую пьесу, в которой как бы кто ни играл, конец заранее известен. Отчасти и сам сын способствовал этому, никогда не делясь с ней личным (дурной тон), не говоря всерьез, отчего Наталья Борисовна доселе хранила заветную, тщательно от самой себя скрываемую мысль, что именно она, мать, и есть его единственная сердечная тайна, ради которой в последний, решающий момент сын пожертвует всем остальным. Кашин считал, что это далеко не так, но ее годами выпестованное убеждение подгоняло почти любой расклад событий под свой трафарет. Для этого достаточно было хоть раз отозваться о своей пассии с пренебрежением, обозначив, так сказать, приоритеты. Наталья Борисовна и не подозревала, что, обижаясь, она и провоцирует эту жертву, и то, что Кашин на сей раз не уступил, привело ее в тягостное состояние духа с мыслями о своей старости, людской неблагодарности и смерти.

Настя тоже обиделась на него, но за другое – почему он не берет ее с собой. Она умела молчать и была с ним заодно и теперь его отъезд воспринимала как предательство.

– Но у тебя же школа, уроки... – оправдывался он.

– Ну и что? – твердила она, и по большому счету, конечно же, школа и уроки ровно ничего не значили.

У Иветты оказалась немалая библиотека, и Кашин перелистывал знакомые книги, вычитывая свои любимые мысли, чтобы потом прочесть ей. Некоторые были так прекрасны, что ее отсутствие становилось пыткой, и он делал все новые закладки, не подозревая, что они почти не понадобятся, потому что, готовясь к разговору, он по сути уже разговаривал; это было общение с ней без нее, и его нельзя было перенести в другие нетерпеливо ожидаемые часы.

Обедали они за низким журнальным столиком, придвинув к нему тяжелые кресла. Кашин под удивленными взглядами коммунальных соседей (супружеской пары примерно такого же возраста, но явно не интеллигентского покроя) приготовил на кухне мясо, и Иветта постанывала от наслаждения. Именины сердца!

– Все, хватит! – сказала Иветта, отодвигаясь вместе с креслом и шаря на письменном столе в поисках сигарет. – С тобой опасно иметь дело. Ты пробуждаешь во мне все мои тайные пороки.

Пороки это были или нет, но Кашин не узнавал Иветту. Сдержанная, холодноватая, готовая к насмешке, четко отмечающая тогда, на юге, каждую фазу соития, чтоб ненароком не «залететь», чего смертельно боялась, теперь она, похоже, потеряла всякую бдительность и осторожность, и едва ли помнила, что с ней происходит. Растроганный Кашин тоже позволил себе расслабиться и как бы потерять голову. Это «как бы» действительно оставляло его на стреме, поскольку ему все равно приходилось контролировать ситуацию, – ведь зачатие требует договоренности обеих сторон. Легли они рано – с одной только целью, которой теперь ничто не мешало, никакие внешние и внутренние, пусть даже привходящие обстоятельства, и Кашин с удивлением обнаружил в себе способности, о которых раньше и не подозревал. Собственно, мужчина умеет лишь то, чему его научили женщины, и Кашин обнаружил, что в его сексуальном образовании есть пробелы, которые он теперь с удвоенной энергией заполнял. Конечно же, он был знаком с иллюстрированной «Камасутрой», но, как и многие, считал, что для полноценного соития достаточно четырех-пяти поз. Теперь же они изобретались на ходу одна за другой, то ли по Иветтиной подсказке, то ли по его вдохновению, и все оказывались существенны, потому что в каждой новой открывались новые оттенки, тела как бы примеряли их, ища такую, в которой можно было отдаться сполна снедающему их вожделению. Каждой был присущ свой особый ритм, были позы, в которых тела наслаждались порознь, и позы, в которых доставалось только одно возможное движение, одно на двоих. Они и кончали вместе, сначала она и тут же следом он, как бы выпущенный из ее катапульты. Кстати, и лоно ее было для него новым – то взыскующим, то податливым, то таким воинственно-упругим, что только встречным давлением собственного тела можно было удержаться в нем. Это же лоно (йони) вдруг охватывало и сжимало, как пальцами, его уд (лингам), и он был очень удивлен, когда она сказала, что повелевает этим процессом – и тут же продемонстрировала. Он вспомнил, что где-то читал об этом: какие-то смуглые аборигенки устраивают соревнования в метании стрел вагиной. «Не пробовала», – сказала она, но он поверил, что и у нее получилось бы. При тонком стане и небольшой груди у нее были широкие бедра, будто она сошла с индийской средневековой миниатюры, и Кашин чувствовал себя как в лодке с надежными бортами, которая несла его по волнам.

Пока они были в постели, ему казалось, что они управляют временем, миром, вселенной, что они могут все. Далеко полночь они, стараясь не шуметь, вместе приняли душ, и заснули, прижимаясь друг к другу как символы инь и ян, голова к чреслам, но и во сне помнили об этом и пробуждались, чтобы тронуть лицом, губами, языком сокровенное друг у друга.

По ее просьбе он рассказал ей про свою первую любовь (несчастливую – она вышла замуж, а потом осталась одна с ребенком, и он малодушно захаживал к ней, матери-одиночке, на ночь, пока не понял, что не любит этого чужого ребенка) и уже сам, повинувшись новой смутной потребности говорить ей о тайном, рассказал об отце. До того, как отца арестовали, он мало что помнил, – только один миг, проведенный с отцом, навсегда остался в памяти. Они на даче – тогда у них была дача – светит солнце, и они стоят под огромной липой. Над ними шумит, трепещет свежая зеленая листва, и по траве перебегают солнечные пятна. Отец делает из своего носового платка парашют, привязывает к нему на нитках тяжелый ключ от дачи, сворачивает и высоко подкидывает. Кувырнувшись, парашют вдруг наполняется воздухом и летит наискосок сквозь солнечный зеленый шум – ключ, больше похожий на водолаза, чем на парашютиста, спокойно раскачивается, посверкивая в глаза, и четырехлетний сын машет ему рукой. Отец работал в секретном военно-морском КБ.

А потом отец исчез и только через пять лет вернулся, и в школе к Кашину подобрели. У них уже не было дачи, и тяжело больной отец почти все время лежал. По вечерам они с матерью закрывались и вели бесконечные тихие разговоры, и Кашин чувствовал себя одиноким, никому не нужным и ревновал мать к этому чужому непонятному человеку. Год спустя он умер, и у сына

осталось на губах долго несмываемое ощущение холодного каменного тлена, когда он поцеловал в лоб то, что называлось его отцом. Он понял их с матерью жизнь и историю позднее, когда вырос, особенно когда однажды, роясь в семейных бумагах в поисках своей метрики о рождении, случайно наткнулся на стихи матери. Стихи были об отце.

Иветта умела слушать – рядом с ней никогда не возникало призрака барьера, за который лучше не переходить. Ей можно было рассказать все.

Она стала его по-новому звать – «Ди», взяв из имени самое звонкое сочетание, и произносила его нараспев. «Послушай, Ди...», – говорила она. Засыпая, она искала его плечо, укладываясь щекой в известную ей ямку, и веер золотых волос накрывал их. Два раза она брала отгулы, и тогда они вовсе не вставали, будто необходимость передвижения означала поиск, а они все нашли. Они двигались теперь вместе в совсем другом пространстве, и свет, и тьма менялись не снаружи, а в них самих и были равны не времени, а рождению и смерти, а повторение того и другого могло обозначать разве что самую вечность. Не вставая, они могли дотянуться до любой эпохи, будто начинались отовсюду.

Однажды забрели в магазин старой книги, где Кашин неожиданно обнаружил за прилавком своего однокурсника, и тот, отведя их в служебный закуток, хлопнул перед ними дюжиной заграничных художественных альбомов, которые, несмотря на немалую цену, уходили в основном из-под прилавка.

– Смотри, это ты! – сказал Кашин, открыв страницу с репродукцией портрета Джинервы де Бенчи кисти Леонардо. – Твое лицо. Хотя более холодное и искусственное. Первый раз, когда я тебя увидел, мне показалось, что я тебя знаю. Так вот это откуда.

Она пытливо взглядывалась в картину, веря и не веря ему.

– Лицо – это вообще тайна времени и личности. Хотя в природе не так уж много типов лиц, все-таки от эпохи к эпохе они разнятся. А иногда повторяются уже совсем в другой эпохе как странные двойники, порой как насмешка. Помнишь, мы видели в метро парнишку с лицом молодого Дюрера? Какие мощные лоб, рот подбородок! А в Коктебеле я видел Джулиано Медичи – такие же вырожденчески изощренные черты. А на ногах рваные кеды, рюкзак за спиной...

– Понятно, что ты хочешь сказать.

– Так вот у женщин, по-моему, иначе. У них вообще несколько ослаблена связь с конкретным временем. Образ вечности проходит именно сквозь них. Только одна поправка – этот образ создала мужская рука.

– Пока...

– Не слушайте его, Иветта! – на лету подхватил мысль кашинский знакомый, по фамилии Кулик, сам похожий на один из портретов флорентийской школы. – Художники все время путают субъект и объект. Они думают, что мир – это то, что они изобразили. Считают себя демиургами, а вслед за ними и мы, простые смертные, начинаем так думать. Но визуальный мир – это иллюзия. Почитайте философов Дзен, неглупые ребята, между прочим. Ты прости, Дима, но я как бывший искусствовед...

Иветта и его слушала с интересом, словно прикидывала, насколько она отошла от истины об руку с Кашиним.

– Кричат: талант! Эпоха! Талант ее отражает! А он отражает только себя. Свою собственную кочку в болоте времени. Эпоха – хотя объясните вы мне, что называть эпохой?! – она так и уходит неотраженная. Никто не знает, какой она была – ни историк, ни художник. Никто и никогда! Прошлое – это то, что нам предпочтительно о нем думать в настоящий момент. Это наша спекуляция. В лучшем случае черепки и камни. А настоящее – вообще химера... Омут...

– Да... – оказал Кашин, – а ведь был гордостью факультета. По этому поводу надо выпить.

– Мы, конечно, выпьем, – внезапно погрузнев, сказал кашинский знакомый, – но от этого не приблизимся к истине.

Они выпили в закутке две бутылки «Гурджаани» и по пути домой – почему-то очень хотелось поскорее домой – у Кашина прорезалось красноречие:

– Истина как раз там, где мы. А где нас нет – там нет ничего. Буддизм говорит: откажись от страстей и будешь счастлив. Все как раз совсем наоборот! – И он выразительно посмотрел на Иветту. – Надо просто уметь быть счастливым. – И еще плотнее прижал ее к своему плечу.

Он чувствовал себя как бы все время летящим.

Ложились рано, а за полночь могли проснуться, чтобы бодрствовать чуть ли не до утра. Он взялся постричь ей лобок.

– Тебе не нравится пышность?

– Когда я тебя постригу, ты станешь другой женщиной.

– А эта тебе надоела?

– Нет, но я всегда мечтал сделать женщине что-нибудь такое, к чему она не допускает.

– А ты испорчен... При всей своей стеснительности. Ну да, как говорится, в тихом омуте...

Она вольно лежала перед ним, раскрыв лоно, с поощрительной полуулыбкой следя за его действиями. Остриженные волоски он аккуратно складывал на блюдце, собираясь поместить их в медальон, который, впрочем, еще надо было купить.

– Ну, ну, – усмехнулась она, не выказав желая на встречный обмен.

Волоски были светлыми, но без позолоты. К устью они утоньшались, теряли густоту и равномерность, и Кашин предложил их вовсе выбрить.

– А не боишься? – сказала она с тем же выражением смущенного удовольствия на лице, которое, однако, все время разнилось, в зависимости от того, какой точки ее лона он касался.

– Чего-чего? – не понял он.

– Уколоться... колко будет.

– Я снова побрею.

– Часто же тебе придется приезжать.

– К тому и идет.

– Не знаю, не знаю...

Договорились, что он сделает это в следующий раз.

На пятый день его слегка пошатывало, но надо было уезжать. Новые дела подвалили – конференция у Иветты, а у него – выставка. Звонил, все приняли, надо было приехать, повесить, а то засунут куда-нибудь в темный угол, и тогда все коту под хвост.

Шел дождь – первый после череды мягких теплых солнечных дней, когда говорили, что в Подмоскovie снова зацвела сирень. Иветта спешила на вызов и только выбежала вслед за ним из-под козырька метро, чтобы еще раз поцеловать у автобуса в аэропорт.

– Все, до свидания! – сказала она. – Ухожу! А то страшно не люблю проводы, прощания, всякую грусть. До свидания... Хочу увидеть Настю, – и пошла, сразу став строгой, недоступной.

У него в городе было светло и сухо – оранжево-карминный с фиолетовой дымкой закат над равниной, оглашаемой рокотом реактивных самолетов. Рессоры «Икаруса», подхватив Кашина у аэропорта, так же плавно и ровно несли в город. Целую неделю ему тут и там виделась Иветта – казалось, весь женский род разобрал себе ее руки и волосы, нос, улыбку и глаза, походку или манеру поджимать уголки губ и поднимать бровь. Он написал ей об этом наваждении, и она ответила в том смысле, что только радуется такому его любвеобилию.

Его картину в выставочном зале Союза художников повесили перед окнами, так что искусственный свет, убивающий теплые тона, не очень ей вредил. По странному наитию он не сказал Иветте о выставке – с одной стороны не знал, как примет публика, с другой... С другой – он не был уверен, что картина ей понравится, что-то все же он изменил в ней. В общем, оберегал свое иллюзорное детище от оригинала. И это несмотря на безоглядность любви. Нет, не такой уж она, любовь, была безоглядной. Творчество все же оставалось само по себе и жило своими шкурными интересами. Потому он и художник, оправдывал себя Кашин, считая, что имеет право на такой водораздел...

Несколько синих с белым транспарантов по поводу осенней выставки высели над самим Невским, на открытие набежало много народу, впрочем, половина своих – художников. Ревниво паслись у собственных работ, бросаясь навстречу каждой реплике зрителя. Друг друга, как принято, не признавали. Впрочем, в пределах клана можно было рассчитывать на кислое рукопожатие. Когда-то это травмировало Кашина, теперь он привык, да и сам едва ли не стал таким. Хотя считал, что умеет видеть чужие работы и хвалить их. Но, по правде сказать, ему мало что нравилось у коллег – так, отрывки, фрагменты. Из реалистов ни у кого не было заслуживающей внимания концепции, а андеграунд, всякий там доморощенный и допотопный авангардизм он не признавал.

В первые дни ему казалось, что его Иветта, точнее «Утро в саду» лучше всех, но ажиотажа не было. А вот напиши он, как Курбе, одно лишь лоно своей возлюбленной, и имел бы скандальный успех. Но даже в вольной Франции это лоно под идиотским названием «Происхождение мира» осмелились выставить лишь спустя более чем сто лет. Порножурналы – пожалуйста, а высокое искусство – нет. Видимо, есть в нем какая-то особая правда, оскорбительная для обывателя. В этом смысле Кулик прав – обыватель клюет только на иллюзии. Здесь же он узнал, что через полтора месяца в Москве открывается юбилейная выставка художников России, но там, конечно, более жесткий отбор. Впрочем...

А почему бы и нет, подумал Кашин. И это стало его идеей фикс. Он ведет Иветту на юбилейную выставку, и вдруг она видит свой портрет... Он ее возвеличил, он ее увековечил. Потом они покупают шампанское и подают заявление в ЗАГС. Если она захочет, он будет жить в Москве, он согласен.

Через три дня в газете появилась первые заметки о выставке, еще через день незнакомый автор наката целый подвал на ту же тему. О Кашине и его картине ни слова. Это неприятно уязвило – как можно не замечать очевидное. Он мастер, черт возьми, мастер психологического письма... Надо быть слепым, чтобы не увидеть... Потом успокоился. Да пошли они, конъюнктурщики! Хвалят тех, кого нужно, пишут то, что угодно. У него есть работа, есть любовь, что еще надо. В этой зависимости от общественного мнение было что-то условное, смешное. «Как мелки с жизнью наши споры, как крупно то, что против нас». Странно, что с годами он стал как будто уязвимей. Должно бы наоборот. Когда ходил в молодых, отверженных, было проще. Был у них свой круг, своя шкала ценностей. А остального просто не существовало. И не приходилось выискивать о себе в газете полторы строчки. Что-то он все-таки утратил... Весь мир превратился для него в одну нескончаемую картину, невозможность завершить которую держала его в постоянном угнетающем возбуждении. И вдруг показалось, что все, что он сделал – около полусотни крупных работ – что все они поразительно неподвижны, темны, маловыразительны. Непонятно, как можно было написать такое дерьмо. Свалить бы их в кучу и запалить костер. Но ведь не запалит, будет ненавидеть, а не запалит... Что же делать с этим паноптикумом? Снял все, что висело, красовалось, распихал по углам, развернул к стенам. Мастерская сразу стада голой, уродливой, необжитой – можно начинать сначала. Но работать не хотелось. Только Иветтин

портрет, тот заготовочный, южный, светил в вечернем сумраке телесной белизной, и казалось, что ему холодно среди этих обветшалых стен.

Теперь этот портрет скорее мешал Кашину помнить ее такой, какой она была в Москве... А она была разной, чаще – медового теплого цвета. В утреннем сне она была похожа на волну, рождаясь из сладкого сонного ощущения покоя, укрытости, уюта, из позы отдыха, расслабленности, умиротворения, – она словно навевала ему этот покой, эту укрытость, словно укачивала его, в лад с ним, на медвяном лоне.

– Почему она нам никогда не звонит? – спрашивала Настя.

– Она работает. А дома у нее нет телефона.

– Ну, так позвонила бы с работы.

– Там больные. Не очень-то приятно говорить, если рядом с тобой какой-нибудь полуголый пузатый дядька.

Доводы были неубедительны – в самом деле, почему никогда не позвонит? Он звонил два раза в неделю, утром, до приема больных. Иногда ее еще не было, и догадливым голосом отвечала медицинская сестра: «Иветта Владимировна с минуты на минуту придут».

– Ну, рассказывай, как у тебя? – спрашивала она, и он по привычке опять уступал ее провоцирующему дару слушать и слышать. Но рассказывать было непросто – он чувствовал нетерпеливое ожидание очереди за ее дверью, и хоть сама она была абсолютно спокойна и обращена к нему, он никак не мог преодолеть это номерковое нетерпение, сочившееся в ее кабинет. Не без труда он соединял в один образ реальность ее голоса, интонацию писем и портрет – это были три разных Иветты, из которых та, что писала – самая бесплотная – оказывалась ближе остальных. Именно к ней он и обращался.

– Мне с тобой так спокойно, – говорил он ей в Москве. – Будто без тебя одна жизнь, а с тобой – другая. Кажется, вот это, это, это – как с ним справиться? – все плохо, сложно, трудно. А рядом с тобой ничего такого нет. Ты помогаешь мне. Я сам становлюсь другим. Из маленького колеса становлюсь гигантским – те же рытвины, а я их не замечаю.

– Не люблю покоя.

И он объяснял, что имеет в виду другой покой, тот, который вместе с волей поэт противопоставлял счастью. Но тут же он понимал, что покой его именно от счастья и не от чего другого. И что он будет счастлив, пока будет с ней, пока все будет так, как сейчас, – ему казалось, что естественность и простота настоящего и есть реальный залог такого же будущего.

Однажды она призналась ему:

– Как проснулась, все думала о тебе. Такое в душе зацвело. Чуть не задохнулась в благоухании. А потом все это содрала, пообрывала.

– Зачем?

– Затем, что это ни к чему хорошему не приведет.

Она все время помнила о чем-то, забываясь, только когда у нее было запрокинутое лицо с неземным выражением желанной муки – резко обозначенные скулы и полураскрытые глаза, заполненные невидящей голубизной, как на портретах Модильяни. Будто эту обращенную в себя негу тот и принимал за женский взгляд. Он написал о Модильяни в одном из писем и приложил матушкин перевод из Джона Донна, сделанный для серии «Литературные памятники». Перевод был длинный, и он перепечатал его на машинке. Наталья Борисовна почему-то заволновалась, узнав о его намерении, вырвала у него лист и принялась что-то править.

– Да все отлично, мама, ты только испортишь.

– Нет, тут несколько строчек... Я все-таки не мужчина. А теперь я поняла, как нужно, – ты прочел, и я поняла.

Она забормотала, склонившись над переводом, потом подняла лицо с зардевшимися щеками:

– Может, пошлешь что-нибудь другое? Это все-таки начало семнадцатого века, Англия, барокко, чувственность...

– Вот и прекрасно. Этого и не хватает сегодня, мамочка... В искусстве... Тут есть цельность состояния, а потом снова пошло фарисейство.

– Ну, смотри, – строго сказала Наталья Борисовна.

Стихи назывались «В постель». Они ему нравились, а слова «в цепях любви себя освобожу, и где рука – там душу положу» мог бы сказать и он сам. Понимал он или нет, но получалось так, что он старался поддержать в Иветте чувственную память. В каждом его письме было теперь несколько неистовых строк – он стал писать открыто, с чувством права и доверия, которое не может быть поколеблено.

И письма ее – они приходили два раза в неделю – приносили радость. Однако чем дальше, тем больше в них стало проявляться какое-то жертвенное отстранение. «Я помню о тебе, – писала она. – Часто брожу по осенним улицам и как бы со стороны думаю обо всем. Вот ты улыбаешься. Милая у тебя улыбка. Наши пути в какой-то точке времени-пространства совпали, но вероятней всего они разойдутся. Ты звонил. Судя по голосу, тебе было больно. Где-то там, далеко, жила твоя боль, самостоятельно, как живое существо. Хотелось ли мне уничтожить ее? Не знаю, пожалуй, что да...»

В одном из писем она обронила, что звонил Костя, обещал вскоре быть в Москве.

Но с ним она рассталась – после Кости был он, Дмитрий Кашин, был и остается, и хоть это имя впервые возникло между ними, он его почти не заметил. Но когда она сказала ему по телефону: «Ты знаешь, Костя приезжал...» – ему вдруг стало страшно. Он заговорил о другом, не услышав, не разобрав, но она усмехнулась в трубку и с грустной настойчивостью повторила:

– Костя был недавно в Москве и зашел ко мне за день до отъезда.

– Ну и хорошо, – заторопился он, чувствуя, что она хочет еще что-то сказать. Но он ничего не спросил и потом ничего об этом не написал, словно так можно было обойти повод безотчетного страха. И, только получив письмо, он понял то, во что отказывался верить. «Оказалось, что Костя по-прежнему занимает во мне слишком много места, – писала она. – Даже не любовь, а что-то иное, гораздо более прочное и долговременное, связывает меня с ним. Ты сильный, у тебя есть дело, ты можешь жить один. А он – нет...»

Мокрый снег наискось прочеркивал сумерки и белыми мазками – один к одному – накрывал дорогу и тротуар. Он забил волосы и, пока Кашин поднимался в мастерскую, таял и стекал по лицу и затылку. Не включая свет, Кашин повалился на диван. Было холодно, тихо и темно. За темно-синим квадратом окна в черном переборе рамы продолжалось волновое нашествие белых призраков зимы. Самое смешное, что так уже было однажды – он так же лежал в темноте, и за окном шел не то дождь, не то снег. Почему человек не извлекает уроков – ему снова так же больно. Или больнее. Она права, боль, как живое существо. Что он сделал тогда, три года назад, когда ушла жена? Кажется, накачался вином, поскольку от водки его всего воротило, да, вином, но толку было мало – только разболелась голова. И он бродил по мокрым черным ночным улицам, пока его не подобрала какая-то девица, с которой он переспал, а потом две недели стойко переносил уколы и принимал антибиотики, дабы избавиться от последствий ее гостеприимства. Странные все-таки существа женщины – готовы делиться всем, что у них имеется, даже не ставя в известность...

Мать сидела в своей комнатухе, за матовым стеклом светил торшер – работала, Настя была уже в постели – читала, подперев щеку ладонью. Он сел на край кровати, легко провел рукой по ее волосам:

– Не помешаю?

– Фу, холодная! – поежилась она.

– Снег на дворе.

– Я видела. Ерунда. Растает.

От нее пахло чудесным ребячьим запахом.

– Ты что такая худая? – сказал он. – Ешь, ешь... И загар сошел.

– Не сошел, смотри... – она откинула одеяло и, словно вспомнив что-то, неловко подтянула ночную сорочку ровно до незагорелой полоски.

– Ты меня уже стесняешься?

– Угу... Совсем немножко. Почитаешь?

– А что у тебя?

– Робинзон Крузо. Знаешь, какая книга! Здоровски написана. Хоть немножко, а?

– Давай.

Он взял книгу.

– Ты Иветту вспоминаешь?

– Да.

– Помнишь, ты говорила, что ее любишь.

– Говорила.

– И сейчас любишь?

– Не-а. Просто вспоминаю. Я тебя люблю. Иди ко мне, мой маленький, пушистый.

Она протянула к нему свои худенькие длинные руки и не то поцеловала, не то лизнула его в щеку.

– Я вижу, у тебя все пушистые, – сказал он, пытаясь высвободиться, – ежи, черепахи...

– Угу. Маленькие и пушистые. Сиди. Помнишь, мы читали, что, когда ежик рождается, у него вместо иголок перья. Представляю себе... – она захихикала.

Тогда, три года назад, он не мог с ней поговорить.

То, что Настя больше не разделяла его чувства к Иветте, скорее удивило, чем огорчило Кашина, и на какое-то время вернуло его к реальности. Эта зыбкая, но независимая от него реальность позволяла взглянуть на произошедшее со стороны, как, собственно, и положено глядеть художнику. И хотя это ничуть не умеряло боль, картина мира уже не сводилась к черному квадрату на белом фоне – воплощенному ничто. Картина обретала глубину – мерцали не вполне ясные, но обнадеживающие детали. Ведь было же в одном из ее писем: «Сознание безнадежности не мешает нам ожидать». Это высказывание кого-то из великих, как и все подобные высказывания, вполне абсурдное в своей категоричности, обладало-таки побочной анестезией – оно прибавляло к единственному «мне» множественное «нам».

Через полторы недели, прошедшие в молчании, он написал ей веселое, шутливое письмо. Каждое слово в нем было продумано и поставлено так, чтобы скрыть рану – письмо было широким бесшабашным жестом дружбы и безоглядности. И только самый срок в десять дней без писем и телефонных звонков, был сомнительным свидетельством перемен.

Иветта по-своему поняла его великодушие – в ее ответе снова было о Косте, так что у Кашина потемнело в глазах. Он тут же написал ей все, что оставалось под спудом – она сама проткнула пульсирующую пленочку едва затянувшейся боли. Пусть знает, каково ему – жажда, чтобы она знала, была теперь сильнее предусмотрительности. Он писал, что не годится на роль подружки, которой доверяют сердечные тайны. В конце он приписал какие-то вовсе дикие слова о том, что ее постель, насколько он помнит, не рассчитана на троих – полный бред. И пока не передумал, пока было горячо, кроваво – бросил письмо в ящик. Вечером он схватился за голову, но было поздно.

И тогда началось ожидание.

Он ждал ее ответа. Она молчала. Все, что осталось у него, – это ее портрет, так и вернувшийся с выставки незамеченным, и каждый день он подходил к нему, чтобы что-то поправить, пока не обнаружил, что это уже другая Иветта – та, которой больше нельзя было позвонить и от которой не могло быть писем: она смотрела мимо него, и печальные тени у губ и глаз говорили, что произошло что-то непоправимое. Тем обманчивей стала ее поза, естественная только перед любящим, возникшая только под влюбленным взглядом. Во всех его последних портретах проступало это противоречие между позой и выражением лица. Словно жили не так, как думали, и думали не то, что говорили.

Закрытие выставки отметили сборищем. Художники, искусствоведы – в общем, все свои или притворяющиеся своими. Гремели стереоколонки, пробка от шампанского срикошетила от потолка и расколола фарфоровое блюдо. Оно развалилось пополам, разделив бутерброды с черной и красной икрой, и эта нелепая деталь почему-то застряла в голове. За огромным фонарем роскошной чужой мастерской остывала голая пустынная земля, прибитая кое-где нарастающим снегом, и параллелепипеды новостройки, положенные набок или поставленные на торец, демонстрировали два единственных архитектурных варианта пространственных отношений. Высокая, увешанная бусами женщина с маленькой восточной головкой, жена успешного хозяина мастерской, которого почему-то не было, полвечера аккуратно обхаживала Кашина и, танцуя с ним, дышала ему в ухо ментоловой жвачкой: «Представляете, я вышла замуж в семнадцать лет...» – намекая на то, что жизнь обделила ее впечатлениями, и что теперь самое время бросить вызов скопидомке-судьбе. Кашин передоверил ее одному приятелю, и на миг чары покинули ее лицо, и стал виден весь недобор этих самых впечатлений, но потом, когда Кашин столкнулся с ней в кругу танцующих, она на равных подмигнула ему своим вновь замерцавшим глазом – судя по всему, приятель оказался более отзывчивым.

В мастерской было много полотен и рисунков – пестрый салат или, точнее, винегрет из трактористов, сталеваров и былинных богатырей. Все были хороши собой, с одинаковыми сливовыми глазами, и свидетельствовали о могучем душевном здоровье автора. Было много церквей в сочных тонах и всякой сусальной истории. Будто сама Россия-матушка, надев цветастый сарафан, вышла на золотое крыльцо. Как в детской считалке: «Царь, царевич, король, королевич, сапожник, портной...» Лубочный демократизм. Такое многим нравилось и шло как новье. Нет, до этого Кашин никогда не скатится... Сначала принимаешь правила игры, то бишь конъюнктуры, а потом забываешь, что это всего лишь игра. Кажется, что ты прежний, настоящий, а ты уже другой, и ничего-то от прежнего не осталось.

– Как тебе это? – подсел к нему с бокалом вина тот самый, уже слегка подвыпивший приятель, заботам которого Кашин препоручил скучающую жену хозяина мастерской. Тонкий, светлый, с неопределенными движениями, необыкновенно вежливый и тихий, он был похож на свои загадочные, недоговоренные работы в таких же светлых, как он сам, тонах.

– Спроси что-нибудь полегче.

– Все-таки это почти красиво. Хорошие краски, чистые... Я вот думаю – если повесить в детском саду, в школе, детям понравится. Мои так не повесишь. А дети...

– Это развесистая клюква, – перебил его Кашин.

– Нет, старик, ты не прав. И я не прав. Это написано для народа, а не для нас, гнилой интеллигенции. Вспомни Толстого, гений все-таки. Он считал, что для народа нужно переписать всю мировую классику. Ведь так? Народ любит мыльные оперы, индийские фильмы. И если ты художник, ты должен с этим считаться, как это ни грустно... – и он повел возле своих плавающих усталых глаз тонким пальцем, под ногтем которого сидела дужка берлинской лазури.

Кашин стал собираться в Москву. Благо, повод был более чем весомый – его картину затребовали на всесоюзную выставку. Пришла соответствующая бумага – больше того, Кашин был включен в официальную делегацию, что было и вовсе неожиданным, так как для этого он и пальцем не пошевелил. И все-таки игре случая он предпочитал логику обстоятельств – дескать, заметили, признают, двигают... Но радости все же не было. Это уж как принято – сначала убить, потом помиловать. Впрочем, чувства ни при чем. Они всегда были ни при чем. Обратная сторона творчества не рассчитана на чувства. Содеянное не равно успеху. После итога всегда проходит ровно столько времени, чтобы успех уже ничего не значил. Это только у биографов безвестный творец вечером ставит точку, а утром просыпается знаменитостью. Один из главных законов этой оборотной стороны – уметь ждать. Вернее, уметь не ждать. Сделать, отложить – и ничего не ждать. Это не театр, аплодисменты не обязательны.

В Москве было бесснежно и не по-декабрьски тепло. Остановились в северном корпусе гостиницы «Россия». Кашину достался одноместный номер на двенадцатом этаже, и с улицы Разина, соединяющей Красную и Старую площади, доносился шум машин. Прямо напротив его окна светили купола знаменитых церквей, словно предлагая Кашину поближе познакомиться, но здесь, рядом с «Россией», церкви казались ненастоящими, игрушечными, как раз такими, как на давешних холстах в чужой мастерской.

На открытие выставки приехало телевидение, и у Кашина – может, потому, что он был хоть и без бороды и берета, но все же в кожаной куртке, – взяли небольшое интервью. Вечером, сразу же после программы «Время», он позвонил домой.

– Видели, видели, только что видели! – закричал в трубку счастливый Настин голос. – Ну, бабушка, подожди, сначала я поговорю. Дима, бабушка тоже хочет тебя поздравить. Она хотела выключить телевизор, потому что я французский не доделала, и вдруг тебя показывают... Да, бабушка, ты хотела выключить, не отпирайся. Дима, все... бабушка тут хочет...

– Сынок, я поздравляю тебя, – оказала мать. В голосе у нее были сдерживаемые слезы. – Это большой успех.

Странное понятие об успехе. К Кашину, и в самом деле, стали будто поласковой, словно не то, что он сделал, а то, что об этом сказали в телепрограмме, и было фактом искусства.

Но если все это и было теперь ему нужно, то только из-за Иветты, – пусть знает про него, пусть поймет, наконец, с кем ей будет лучше.

Его работа висела хоть и в углу, но хорошо и просторно. Да, Иветта была определенно хороша, особенно теперь, когда он обрел некое добавочное, слегка отстраненное зрение. Даже непонятно, как это у него получилось. Вдохновение – да, скорее всего это было чистое вдохновение. Не раз бывало, что собственная картина при новой встрече как бы ужималась, уже не вмещающая приобретенный им дополнительный опыт, а тут он увидел свое «Утро в саду» как откровение. Глубже, умнее он бы, пожалуй, не мог сейчас сказать и рассказать о том, что понял, что знает. И все-таки было, было в загатнике что-то новое, еще не сложившееся, но уже проступающее сквозь мглу. Море, тот ночной путь по морю, нечто темно-синее, сферическое, в тревожных, мерцающих тускло-белых бликах, с Настиним лицом, глядящим из иллюминатора, или как-то иначе, но обязательно – с загадочным детским лицом, вписанным в эту фантазмагорию, в сферическое перемещение темного и светлого, небесного и морского, звезд и волн. Что-то между Тернером и Ван-Гогом. Как писать ночь? В три-четыре цвета? Как ее противопоставить освещенному пространству салона? У Ван-Гога это получилось.

Образ его новой картины возник тогда, когда еще все было хорошо – он рассказывал о нем Иветте, ее голова легко отяжеляла его плечо – и во тьме комнаты так ясно выделась эта картина, что, казалось, включи свет, и она останется – прямоугольник одушевленной тьмы.

Уезжали на третий день утром, но еще накануне он послал Иветте телеграмму. Он просил о встрече у нее дома, если только она сможет. В это «если только» он вложил свою вину и право его не простить. Звонить он не решился. Гостиницу ему не продлили – намечался какой-то международный симпозиум, и, попрощавшись со своими, Кашин снова поехал в Манеж – больше было просто некуда. Народу заметно поубавилось. Стайка девиц студенческого вида в джинсах и мягких вязаных пуловерах насмешливо металась от полотна к полотну.

– Люська! Да у тебя линия в сто раз лучше...

Эти хоть сами чего-то там творят. А вот Кулик не творил ничего – тоже из принципа – и таким образом, не будучи уличен ни в чем лично содеянном, поносил все, что душа ни пожелает. В настоящем ему ничего не нравилось, и стоял он задом наперед. Есть художники, а есть толмачи. Одни делают – другие разносят по свету. И ущемленная вторичность этих других всегда выталкивала их на роль судей.

«Утро в саду» показалось хуже, чем три дня назад. Было в картине какое-то напряжение, какая-то неловкость, скрытая мука или даже суета, – мало спокойной мудрой правды, в которой нуждается зритель. Но зато был удивительный объем – полотно словно дышало.

Перед ним тоже порой останавливались, смотрели, кто-то даже записал что-то в книжечку для памяти – прочесть бы, что именно? И все же, что можно было понять, задержавшись перед картиной на секунду-две? Это ведь капля в море потраченного на нее времени. Картину нужно разглядывать, входить в нее неспеша, как в незнакомый дом, лес, сад, на нее нужно смотреть, как на человека, с которым предстоит заговорить. Сколько сделано для того, чтобы ее рамки остались позади зрителя. А он – судия – не делает и шага навстречу.

– Ваша? – спросил его молодой человек с сивой бородкой.

– Моя, – как ни смирял себя Кашин, а от простого вопроса сердце заколотилось.

Молодой человек кивнул, удовлетворенный своей проницательностью и, нимало не смущаясь, шагнул в сторону.

Вот и поговорили... Знал бы этот беспардонный зритель, что, даже отрицая его, Кашин многое бы отдал за толпу перед своей картиной, ну, хотя бы – за дискутирующую кучку. Но не было этого, и не только потому, что пол-Москвы на работе, а обывателю нет дела до кашинских трудов, но и потому, что не создал он главной своей картины, не высказал все, что знает, что выстрадал – а только большое страдание рождает отклик. И тогда неважны временные соотношения твоего труда и зрительского внимания. Потому что большое притягивает сразу, как крик.

Когда призрак сумерек тронул воздух, Кашин спустился в метро и поехал к Иветте. В подземке было так же тепло и деловито, как два месяца назад. Будто ничего не изменилось, – все тот же теплый солнечный октябрь, и сирень зацвела во второй раз. Но наверху было холодно и неприятно. Уже в темноте Кашин повернул за угол, вошел в бесконечный двор и только тогда впервые исподлобья глянул в сторону ее дома. Там, в знакомом окне, за темными шторами слабо теплился свет.

Он хотел подняться на лифте, но подумал, что его грохот будет слишком явным – она догадается и уйдет. Пошел пешком – побежал, неслышно и стремительно, чтобы уже никуда не успела. Не переводя дыхания, нажал кнопку звонка. Звонки прогремел мощно и избличающе. Какой громкий звонок! Послышались шаги.

За дверью вопросительно стояла молодая тетка – Иветтина соседка.

– Здравствуйте, – сказал он, не узнав своего голоса.

– Иветта, к тебе, – словно смутившись, в сторону сказала соседка, и Кашин деревянно шагнул за порог.

В коридоре было сумрачно, но из приоткрытой в комнату Иветты двери шел свет. Кашин сделал еще один шаг и в глубине комнаты увидел Иветту. Она сидела с ногами в кресле и делала маникюр.

– Это я, – сказал Кашин, – можно?

– Ну, что ты там стоишь, входи, – сказала она, не меняя позы.

Он вошел.

В комнате было все по-прежнему, только в большем беспорядке, словно между вещами обозначился конфликт. Иветта тоже была прежней, или лучше той – только выражение лица у нее стало другим, досадливым, будто ее занятие было ей неприятно. Она еще раз между взмахами пилки глянула на него:

– Пальто повесь вон туда.

Руки не слушались Кашина. Он задумался, снимать ли туфли – домашние тапочки были у него в сумке – и снова застыл на месте.

– Проходи, садись, рассказывай, – снова оторвалась от ногтей Иветта. На сей раз, в ее лице мелькнуло любопытство.

Он сел в кресло напротив и, глядя в стену, сказал:

– Прости меня, прости, если можешь.

Пилка застыла в воздухе:

– Оставим... Лучше расскажи, как ты, как Настя? Между прочим, я тебя видела по телевизору. Ничего, говоришь складно.

Она колыхнулась, будто расшевеливая в себе давешнее чувство.

– Сижу себе, ни о чем таком не думаю. Вдруг крик в коридоре. Господи, что там? – пожар, потоп, соседка кипятком обварилась? А это меня приглашают на тебя посмотреть. Запоминающаяся личность. Ты мою соседку обаял. Так что поздравляю. На большую дорогу выходите, Дмитрий Евгеньевич.

– С кистенем...

– И в самом деле... кисть, кистень, об этом надо подумать.

– Об этом не надо думать, – сказала Кашин.

– Хорошо, – Иветта выразила на лице образцовое послушание.

Она была далеко от него. Не верилось, что это их разговор друг с другом. И все-таки она снова была рядом, и это само по себе было важнее слов. И, когда наступало молчание, казалось, что все, как прежде.

– Хочешь есть? – спросила она.

Он кивнул, хотя не был голоден. Стало быть, расставание откладывалось на неопределенный срок. Она ушла на кухню, оставив приоткрытой дверь, чтобы удобней было проходить с занятыми руками, но из-за этой широкой темной щели комната лишалась былой тайны. И сам он словно был на миру. На журнальном столике лежала тонкая книжица в мягкой терракотовой обложке под названием «Стресс без дистресса». Он открыл наугад и прочел: «Неумолимые биологические

законы самозащиты делают весьма трудным завоевание любви исключительно альтруистическими поступками. Но нетрудно следовать по пути альтруистического эгоизма и помогать другим ради корыстной цели получить взамен помощь от них». Неплохой совет...

Вошла Иветта, с подносом и чайником.

– Селье читаешь? Почитай, почитай, много полезного. Я у него вычитала одно соображение о раковой опухоли – что она единственная из живой материи, которая, паразитируя на здоровой ткани, идет к собственной гибели. Умерщвляя орган, она умирает вместе с ним. Любопытно, с точки зрения этики. Только непонятно, почему при таком наследственном стремлении к самоубийству она до сих пор не вымерла.

– Пошли ему письмо со своим коварным вопросом.

– Это мысль...

Иветта нарезала сыр, колбасу, налила чай – и в комнате запахло минувшим.

– Господи, совсем забыл! – хлопнул себя по лбу Кашин. – У меня ведь бутылка шампанского!

Иветта покачала головой:

– Признаться, зажать хотел. На случай, если прогоню.

– С тем и купил – не с тобой, так с другой.

– А ну-ка давай на стол. С этого надо было начинать. А насчет других я не сомневаюсь.

– И правильно, – сказал Кашин.

Вот как все славно – встретились старые друзья, даже обнять можно по-дружески, чокнуться и подмигнуть: живем, дескать. Только она увела плечо из-под его руки. И он сделал вид, что так оно и должно быть, что это он нарочно ее проверял и теперь вполне удовлетворен. Словно без этого движения письмо ее было бы слишком жестокой шуткой.

Время отсчитывали стрелки маленького будильника, стучавшего на письменном столе с назойливой поспешностью. Говоря, Кашин вдруг наткнулся взглядом на циферблат и каждый раз удивлялся произошедшим на нем переменам. Словно круча времени иссякала не по крупницам осыпающейся породы, а обваливалась целыми пластами, каждый раз неузнаваемо изменяя свой облик. Так грянуло девять часов, а потом десять. Шампанское было выпито, но у Иветты нашлась бутылка сухого вина, и время, рассыпаясь в прах, сначала погребло взвинченную веселость, а потом поддельную простоту, а потом вымученную задушевность, и теперь нависало валуном холодноватой ироничности.

Кашин говорил не о себе – он говорил вообще – и Иветта внимательно слушала, обратив к нему наклоненное лицо, словно под таким наклоном ей было легче понять, что к чему.

– Любовь – это самоцель, – говорил он. – Процесс, а не результат. У нее не может быть итога. Наивно полагать, что это некое бесконечное восхождение по ступеням духа. Когда она кончается, под ногами не вершина, а бездна, любовь возвышает, только пока она есть. Это скорее перерубленный бикфордов шнур, только неизбежный бег огня, а потом сгоревший пепельный канатик, рассыпающийся от дуновения. Бред все то, что принимают за ее итог: семья, дети... Это уже не любовь – любовь умирает в итоге. Она жива, только преодолевая его.

Кашин не замечал, что ополчается против будущего, которое сам же выстраивал в себе. Теперь он предлагал взамен руку для бесконечного пути, даже не пути, а просто для бесцельной целеустремленности.

– Это, может быть, единственная область, – говорил он, где не действует закон сохранения энергии. Немного дыма и немного пепла – вот и все. Никаких наград за долгую беззаветную службу.

– Любопытно, – сказала она, встала и заходила по комнате, обняв себя за плечи, словно защищаясь. – Может быть, это так и есть. Но кто же говорит об итоге?

– Да, конечно, – немедленно согласился он, – любовь или равна нулю, или, если его перекрутить посерединке, знаку бесконечности...

Она, стало быть, опять говорила ему о своем Косте.

– Черт подери, – сказал он, вновь вставая. – Провал в памяти. Я же хотел твой портрет показать. Вот фотография, а оригинал на выставке, можем завтра сходить, посмотреть.

Она молча протянула руку, и он торжественно вручил ей фотоснимок картины.

Она внимательно оглядела свой портрет – было видно, что он ей нравится, потом взгляд ее потух, и она с каким-то темным осуждением посмотрела выше, на Кашина. Он почувствовал, что совершил что-то непристойное.

– Что, испортил, не похоже? – спросил он, догадываясь, однако, что дело вовсе не в этом.

– И где *это* висит? – спросила она.

– Как где? – опешил он. – В Манеже. На выставке. Ты же, вроде, видела открытие. Сама рассказывала.

– Ах да, – сказала она, – как-то у меня не связалось. Но это ужасно.

– Почему? – спросил он, почувствовав, что мурашки побежали у него по спине.

Она посмотрела на него с абсолютным осуждением – взгляд ее светлых глаз был черен.

– Почему? – повторил он.

– Я очень тебя прошу, – сказала она, – немедленно сними ЭТО и никогда не показывай, нигде, ни на каких выставках...

– Почему? – крикнул он.

– Ты хочешь, чтобы я объяснила?

– Да! – он уже все понял, но хотел услышать от нее самой.

– Чтобы Костя не увидел.

– Но это невозможно, – оказал он, улыбаясь задрожавшими губами. – Портрет на выставке. На официальной. Я не могу снять его. Все, что я могу... – он выхватил из ее руки фотоснимок и порвал на мелкие клочки.

Она молча следила за ним – ноздри ее осуждающе раздувались. Его жалкий жест не произвел на нее никакого впечатления.

– Слушай меня, Дмитрий, – сказала она ровным тихим голосом. – Внимательно слушай и постарайся понять. Если тебе хоть немножко дороги наши отношения и то, что между нами было, ты завтра пойдешь в Манеж и снимешь свою картину.

– Но как же так... – Кашин был, как оглушенный, – ты же мне позировала. Ты позировала художнику. А художники показывают свои картины. Так принято.

– Я сделала ошибку, – сказала она. – И теперь я хочу ее исправить. Я не хочу, чтобы Костя знал про нас. Он мне этого не простит. И тогда... тогда... – видно было, что Иветта подыскивает слово, которое не убило бы Кашина.

Он оценил ее усилия и, прежде чем она нашла искомое слово, сказал:

– Хорошо, я сделаю это. Но сейчас невозможно. Поздно. Все закрыто. Милиция. Сигнализация. А завтра утром...

Его била дрожь.

– Спасибо, – сказала она, и в глазах ее мелькнуло прежнее выражение, полное внимания и даже любви. – Ты действительно мой друг.

Однако дрожь не унималась – она переместилась куда-то внутрь, в самую середину его существа и целое мгновение она была сильнее его любви, была, как ненависть, и давала ему силы уйти. И если бы не эти ее слова, он бы, наверно, так и сделал. Он посмотрел на Иветту из того далека, где был свободен и неуязвим, но почувствовал, что уйти – глупо, потому что никакая картина не равна даже одному мгновению жизни, которую он сейчас проживал.

С сознанием исполненного долга он вернулся к креслу, сел, взял со стола сигареты и закурил, – ему нужна была разрядка после сильных чувств. Все это время Иветта продолжала пристально смотреть на него, словно ей было важно докопаться до сути. Он, наконец, поднял к ней лицо:

– Ну, так о чем мы говорили?

Он считал, что оплатил право быть с ней. Теперь-то она поймет, что значит для него.

– Мы говорили о Косте. О том, что он не должен видеть твою картину.

Она произнесла эти слова с выражением мягкой решимости, и окончательность этой решимости была беспощадна. Но чем яснее сознавал это Кашин, тем упрямее он вжимался в кресло, как если бы можно было материализоваться в предмет обстановки и остаться здесь навсегда. Будильник уже назойливо отстукивал первый час ночи, а Кашин, снова разговарившись, делал вид, что не замечает его. Возникла идея, что будет слишком поздно, когда он спохватится, – и тогда она оставит его у себя. И его увлеченность разговором росла по мере движения стрелок.

Но от нее не ускользнул его взгляд, брошенный на часы.

– Тебе не поздно?

– Нет, что ты, – беспечно ответил он, сделав вид, что не понял сути вопроса, и снова заговорил.

Теперь она слушала его не столь внимательно, словно обдумывала его ответ, – и выход был только в самой крайней заинтересованности предметом разговора. Но около часа ночи она прервала ток его слов:

– Тебе пора.

– О, господи! – оживился он, откровенно глянув на будильник, будто только что обнаружил его. – Кажется, я опоздал. Может, остаться, а? – и он заулыбался извиняющейся улыбкой.

Она сидела поодаль, скрестив руки на груди:

– Я вижу, ты задним умом крепок...

– Не надо так, – сказал он, резко вставая. Она была права, но тем сильнее можно было оскорбиться.

– Прости, – сказала она.

– Я уеду, уеду, – засуетился он. – Сейчас. – Он полез в сумку и стал рыться в ней, выискивая записную книжку.

– Жаль, что я не договорился... – пробормотал он. Он достал книжку и растерянно листал ее, чувствуя взгляд Иветты. – Проезд Черепановых... не знаешь где?

Она тихо покачала головой, не отводя от него взгляда. Кашин был жалок и понимал это, но сознание, что ему придется уйти, было настолько мучительным, что унижение почти не чувствовалось.

– А метро у вас до которого часа?

– Такси возьмешь.

Он мгновенно широким оскорбленным взмахом оделся. Но снова сник, ослабел, подошел к ней, обнял за талию. Она не отстранилась.

– Если бы ты знала, как мне трудно сейчас уйти.

– Тебе придется.

– Мне негде ночевать.

– Ничем не могу тебе помочь.

– Да, да, я ухожу, ухожу, – забормотал он.

Она протянула ему на прощание руку, и взгляд ее голубых светлых глаз был полон сострадания.

– Прости, что намусорил, – сказал он, кивнув на обрывки снимка на полу.

В метро было абсолютно пусто, но лента эскалатора еще бежала вниз, и молодой милиционер, мгновение поколебавшись, пропустил его.

– Спасибо, друг, – сказал Кашин.

Подошел поезд, и Кашин повалился на мягкое сидение. Куда ему? Он доедет до самого конца – пусть поезд загонят в тупик. Он ляжет вот здесь и заснет. А утром его повезут обратно. К ней. Он проводит ее на работу. И заодно извинится. Нужно обязательно извиниться. Хорошо она его отбрила. И поделом – не будешь пресмыкаться. Задним умом крепок. Ловкач. Кашин даже плюнул в сердцах. Пожилая женщина напротив встала и перешла на другое место. Да, это он хорошо придумал – только бы не выперли из вагона. Можно притвориться пьяным. Заранее лечь, чтобы не заметили с платформы. И тут он вспомнил про ее портрет, и что надо его утром снять. Он обещал, без этого он не сможет показаться ей на глаза. Господи, но это невозможно! Ему не дадут. Вызовут милицию, отвезут в участок. Он позвонит оттуда, скажет, что арестован за хулиганство. А картина висит. Он ни при чем. Он старался. Ну и что? Тогда это конец. Она не простит. Может, ну ее, Иветту. Все равно она больше не с ним. Может, обойдется он без нее? Искусство важнее. Оно над жизнью. Оно и есть высшая правда. Они умрут, а картина останется. Она навсегда. Она выше...

Объявили станцию метро «Комсомольская», он услышал это сквозь дрему – машинально встал и вышел. Поезд тронулся. Ну вот, называется, поспал в тупичке. Тьфу, проклятье! Последние пассажиры торопливо устремились к выходу. Эскалатор на спуск был уже неподвижен, и неподвижность его была похожа на остановку часовой стрелки. Но минутная еще подымала на поверхность.

Он дважды обошел вокзалы – Ленинградский, Ярославский и Казанский – все скамьи были заняты и, снова очутившись на Казанском, сел в углу главного зала на сумку и уткнулся лицом в

колени. Хотелось спать, но сон теперь не шел. Жаль, что он не лошадь, – заснул бы стоя. Устала согнутая спина, от окна поддувало, по полу тек холод.

Встав и вскинув ремень сумки на плечо, побрел мимо облепленных людьми лавок, с трудом удерживая открытыми слипающиеся веки. Ничего, это скоро пройдет. Видела бы она его... Представил жалостливую картину. И обиделся. Все-таки нельзя с ним так обращаться. А как? Он сам ее к этому вынудил. Ну ладно. Все не так страшно. Завтра он будет другим.

В одном из закутков работал буфет – кофе с молоком и булочки с изюмом. После кофе стало как будто легче, и Кашин окинул огромный зал, переполненный спящими и дремлющими людьми, новым, не обремененным переживаниями взглядом. Люди ему нравились, хоть и казались почему-то на одно лицо. Будто ночь и сон снимали всю разность их дел и забот, объединяя в чем-то одном и главном, отчего общее выражалось сильнее личного. В них было много терпения, но, кроме того – еще какой-то церемониальной торжественности, причины которой он поначалу не мог понять, пока не сообразил, что они помнят, что пребывают в Москве – словно самый сон в средостении России был для них древним насущным обрядом.

В середине ночи какой-то мужичок уступил ему свою лавку, и Кашин с наслаждением вытянулся на ней во весь рост. Он смотрел в далекий потолок, куда уходили неторопливые звуки ночного зала, – и казалось, что это нижние ветви огромного дерева, кровля из листвы, которую не пробить смурому ненастью ночи. Там жили птицы, и одна из них летела, пересекая пространство, – и по тому, как долго она летела, можно было представить, какая у дерева огромная всепокрывающая крона.

Утром он уже был возле Манежа – до открытия оставалось пять минут. У входа – никого. Это и хорошо и плохо. Не хотелось входить первым. Чтобы не мозолить глаза, он подождал за углом. Его слегка трясло от волнения, и даже подташнивало. Но это скорее от буфетного пойла. Мимо шли машины, выбрасывая на тротуар комья жидкой грязи. Чиновничья Москва спешила по своим делам.

Спустя четверть часа он, наконец, вошел. Да, теперь он был не один – редкие посетители вяло растекались по выставке. Многие зевали и почесывались. Казалось, их пригнала сюда не тяга к искусству (ну, кому оно нужно с утра, натошак?), а потребность в элементарном тепле или необходимость скоротать время перед началом каких-то действительно важных дел. Вот и Кашин здесь оказался по поводу более чем странному. То, что еще вчера было здесь для него праздником и как бы эстетическим сгущением пространства по мере приближения к его собственной картине, теперь выглядело обыденным и неприглядным. Кому все это нужно, все эти холсты, вся эта мазня, претендующая называться живописью. Нет, ничего живого здесь не было – боль, пульсирующая боль бытия жила вне этих рам и стен. Не надо самообольщаться. Мы никто, среди нас нет гениев. Наши картины это лишь наши претензии, наш апломб. Сути они лишены. И Союз художников, членством в котором Кашин гордился, был всего лишь заговором обреченных, сговором слабаков, потому и объединившихся, что порознь каждый из них никто.

Господи, как плохо охраняется выставка. Пара смотрительниц на весь этот огромный, теперь перегороженный Манеж, по которому когда-то гоняли гвардейских лошадей. Бери любую картину и выноси. Ему надо было направо, ближе к стене, но он нарочно свернул налево, а уже оттуда, отмечая, что не попадает в поле зрения смотрительниц, передвинулся к своей картине. Он был один, она была перед ним. Ближайшие посетители могли переместиться сюда не раньше, чем через минуту. А, может, через час. А может, никогда. Кому он тут нужен со своей любовью? И все-таки Кашин трепетал. И скальпель в его руке трепетал вместе с ним, как листик осины. Иветта смотрела из глубины холста, и было видно, что она догадывается о чем-то нехорошем. «Она же совсем другая, – вдруг подумал Кашин. – Я совсем ее не знаю». Он был как в горячке, мало, что его трясло, похоже, у него и с мозгами было не в порядке. Они словно плыли куда-то, снявшись со своего насиженного места. Нет, он поступает правильно. Он не Репин, и перед ним не Иван Грозный, убивающий своего сына, что когда-то не понравилось какому-то сумасшедшему, и перед ним не его любимая Даная Рембрандта из Эрмитажа, которую сжег кислотой какой-то литовский недоумок, перед ним всего лишь никому не известная Иветта, которую он отчаянно полюбил и для

которой он сейчас совершит жертвоприношение. Она требует доказательств его любви? Что же, он их представит!

Туго натянутое полотно хрустнуло, даже как бы ойкнуло от боли под его скальпелем и стало пульсировать в такт рывкам лезвия. Грунтовка была тонкой, казеиновой – резалось легко, как по живому. Кашин вырезал квадрат головы размером с носовой платок (это могло бы стать отдельным портретом, захоти он ее обрамить) и, оглянувшись, сунул его под пояс брюк, заправив сверху рубашку. Вот и все. Он сделал маневр в обратном направлении и вышел как бы с другой стороны, – никто не обратил на него внимания. Это было так просто, что не поддавалось объяснению. Впору было задаться вопросом, почему же до нас дошло столько полотен, – они так уязвимы для ножа. Неужели мир зрителей состоит по преимуществу из нормальных людей?

Напряжение схлынуло, и Кашин почувствовал в ногах слабость. Его продолжало поташнивать, и он был совершенно мокрый от пота, как после бани. Да, хорошую баню он себе устроил. Такого еще с ним не было. Вот уж действительно – новый опыт. От сумы и от тюрьмы не зарекайся. Что теперь будет? А ничего, картину просто снимут по-тихому, а его известят... Интересно, застрахована ли она? Кашин даже не удосужился поинтересоваться. Куда теперь? Иветта на работе, а вырезанный кусок холста жжет ему нутро. Надо чего-то съесть. И помыться. Побриться.

И еще хотелось плакать. Хотелось рыдать. Если честно, то картины было невыносимо жаль. И в минуты, когда он забывал про Иветту, сожаление просто выжигало его.

После кофе с молоком и булочки с изюмом (похоже, любимым буфетным комплектом москвичей) немного отпустило, и мысли его приняли более ровный и плавный характер. Да, вчера он вел себя преглупо и чуть не погубил их отношения. Он ведь ничего по сути не сделал, чтобы его любили, он жил по инерции своих позавчерашних успехов на любовной ниве... Сколько уже раз он ошибался, переносил вчера в сегодня. Но по инерции здесь ничего не получится. За любовь надо бороться каждый день. Что же. Он поборется. Еще посмотрим, кто кого.

Удачная идея успокоила его и вернула любимое состояние – предощущение чего-то хорошего. Казалось, что выспался, что бодр и здоров.

В магазине «Старая книга» Кулика не оказалось, но Кашину дали позвонить:

– Старик, ты не будешь против, если я вдруг вечером постучусь в твою дверь... Ага, соскучился... Всего на одну ночь... Один, один, успокойся... Пока с ней, но тут всякие сложности. Ничего тебе не понятно. Ну, все. Не забуду. Бутылка за мной.

Меж тем стало подмораживать, снежную кашу прихватило, и тротуары на глазах подсохли, затянув ледяной пленкой редкие лужицы. За облаками, где-то совсем рядом, бродило солнце. А может взять и уехать? Улететь? А через часа четыре позвонить ей на работу. Огорчить. Озадачить. Много бы он отдал за нотку ее огорчения...

Зашел в телефонную будку и набрал ее номер. Сплошное везение – она была дома. Ей перенесли дежурство. До часу еще уйма времени!

– Ну, так я сейчас заеду? – отважно спросил он, зная, что с ее «нет» ему будет очень трудно справиться.

– Зачем? – сказала она не очень вежливо.

– Кофейком напоишь. Опять же подарок для тебя. Не могу же я с ним по городу таскаться. Неровен час – арестуют.

– Ты что, Дима... – сказала она и замолчала.

То, как она это сказала, и эта ее пауза прозвучали для него небесной музыкой.

– Ты что, свою картину украл?

- Ну да, в этом роде...
- Тебе ее отдали?
- Угу, теперь вот хожу с ней, не знаю куда деть. Метр семьдесят на метр сорок.
- Сдай в багажное отделение.
- Там не принимают. Говорят, художественная ценность.
- Ох уж и ценность...
- Ну да, – сказал он, – сам не ожидал.

Он слышал ее улыбку и улыбался в ответ. И за это мгновение он готов был пожертвовать всем своим несчастным творчеством.

- Ну ладно, – поколебавшись, сказала она. – Привози. За хранение ничего не возьму.

И он полетел к ней.

– Здравствуй, – сказала она, открыв дверь, и тут же нахмурилась, поскольку никакого крупногабаритного предмета в его руках не наблюдалось. Он молча протянул ей рулончик с ее лицом.

- Что это? – спросила она, не желая брать сверток.

– Посмотри...

- Что это? – повторила она, помрачнев.

– Твой портрет, – сказал он, продолжая стоять в дверях. Чувствуя, что опять пошло не туда, он развернул трофей:

- Я его вырезал. Иначе не получалось.

Она посмотрела на свой портрет, потом подняла глаза на Кашина. В них была вина:

- Ну, ничего, потом ты его пришьешь на место.

– Зачем пришьешь, – сказал он, вспомнив про мусоропровод, тут же, на лестничной площадке. Подошел, открыл крышку и кинул туда портрет. Было слышно, как холстик прошелестел вниз по трубе. Теперь уже окончательно. Никаких компромиссов между обеими его музами.

Иветта внимательно посмотрела на Кашина, ища в его лице следы сожаления, – он же браво улыбался.

- Что ж, проходи, Герострат, – сказала она.

Полпервого Иветта засобиралась на дежурство, и Кашин вызвался ее сопровождать. Она не возражала.

– У тебя есть чемоданчик? Вот и славно! – сказал он. – Я буду его носить. Ничего. Я в парадняке постою. Могу и войти. Вроде санитары или стажера. Стажеры ходят с врачом по квартирам?

- Ну что ж, попробуй, – сказала она.

В мужской меховой шапке, аккуратно покрывшей золотую россыпь ее волос, с лучающимися глазами на зимнем суровом свету, чуть зарумянившаяся, была она прекрасна...

Протянула ему пузатый коричневый чемоданчик:

– Неси.

– И много у тебя вызовов?

– Уже и на попятную...

– Нет. Чем больше, тем лучше.

Шла рядом с ним своей чудесной горделивой походкой.

– Так где ж ты вчера ночевал?

– На вокзале.

– Ну и как?

– Хорошо. Люди вокруг. Тепло. Душевно.

– Ну вот, благодари меня, что приобщился к народу, элита...

– Не знаю такого слова. А насчет народа, у меня с юности, когда еще бродяжничал, чувство такое осталось. Едешь, например, куда-то за тыщу, две тыщи, пять тыщ верст, вылезешь – а там все равно по-русски говорят. Просто поразительно. Велика Россия.

– В каком классе географию проходят?

– Ты без иронии. Ты понимаешь, о чем я говорю.

– Не люблю сантиментов. Особенно про народ, всякую там родину.

Кашин поморщился и с веселым снисхождением, как старший товарищ, глянул на нее.

Хорошо было сегодня. Просто. Она даже спросила:

– Чему это ты радуешься?

– Все хорошо, – сказал он.

– Счастливый человек, – вздохнула она, и вздох ее был о своем.

В квартиру к больному она его не пустила:

– Перебьешься, – и пока стояла в ожидании, когда откроют дверь, изменилась так, что подойти и взять за руку было бы нелепо.

Дом был старый, и на лестнице знакомо пахло кошками.

Иветта вышла через четверть часа.

– Что там? – спросил он.

– ОРЗ.

– Дядька, тетка?

– Молодой человек. Очень милый. Между прочим, просил телефончик.

– Ты, конечно, не дала.

– Отчего же... Если это поможет ему выздороветь.

– Давай я тоже заболелю, а ты меня будешь лечить.

– Ты не наш участок. И вообще командированных принимает только дежурный врач.

Во втором доме тоже было ОРЗ.

– Ты им выписываешь лекарства?

– Угу.

– И ты думаешь, они им помогают?

– Думаю, да.

– А я думаю, что лекарства ни к чему. Я никогда не принимаю лекарств. У меня к ним идиосинкразия.

– Мои больные не знают такого слова.

В третьем доме оказалось все то же острое респираторное.

– Послушай, это не скучно? Каждый день одно и то же. Одна болезнь, одна таблетка.

– Если ты будешь зудеть над ухом, я тебя прогоню.

– Я серьезно, ей-богу.

– Ты тут говорил про людей. Так вот, я их тоже люблю. Они мне интересны. Я уверена, что вы, мастера искусств, не замечаете и сотой доли того, что замечает врач.

– Так-так, слушаю...

– Все. Хватит с тебя.

– Просто, а главное – убедительно. Хотя, между нами говоря, – Кашин перешел на заговорщицкий шепот, – методы современного лечения моему обыденному сознанию кажутся варварскими. Вместо того чтобы направить внутреннюю психическую или какую там еще энергию человека на излечение его больного органа, ему этот орган чик! – и отрезают. В человеке есть все, чтобы он сам себя мог вылечить. Его энергетика, как и мозг, используется смехотворно мало. А природа его создает потенциально гармоничным, скомпенсированным.

– Дорогой, ты слишком хорошего мнения о природе. Побыл бы ты хоть в одной детской клинике. Волосы встанут дыбом. Тогда бы ты уже не говорил о гармонии, а вставлял искусственный клапан в сердце или титановый стержень вместо никудышной голени. При-ро-да... – и Иветта знакомо раздула свои тонкие ноздри.

Словно в отместку ему четвертый адрес оказался, видимо, нетипичным, и Кашин долго простоял на лестнице. Напротив дома через двор была школа, и младшеклассники, оставленные на продленку, бегали под присмотром сердитой усталой учительницы среди чахлах зимних деревьев. Двое мальчишек пинали камешек в футбольные ворота из школьных сумок.

– Два на одного, идет? – подошел к ним Кашин.

– Давайте, – сказал один из них, и они, не церемонясь, агрессивно пошли вперед. Один, побольше и повыше, был себе на уме и норовил нападать исподтишка, а второй, широкоплечий веснушчатый коротышка, пер напролом по центру, будто был в одной с Кашиним весовой категории. И если первый при неудаче отскакивал в сторону, то второй боролся до конца, упорно путаясь под ногами, толкаясь и сопя.

Кашин не заметил, что Иветта уже стоит поодаль.

– Простите, ребята, – сказал он, выпрямляясь. – За мной пришли.

На этот раз Иветта молчала и шла не так скоро.

– Что-то нехорошо? – спросил Кашин.

Она не ответила, только поежилась и устало прикрыла веки.

Вечерело, и в чистой густой сини поблескивали две-три ранних звезды. Вдоль улицы бледно обозначились цепочки огней и стали разгораться, засвечивая и звезды, и черный непрерывающийся силуэт крыш на фоне меркнувшего заката.

– Умирает чудесный старик, – прозвучал в сторону Иветтин голос, будто она обращалась к оставшемуся за фонарями пространству. – И ничего нельзя сделать.

Кашин молчал.

– Рак легкого. Выписали из больницы. Не хотят, чтобы у них рос показатель смертности. Представляешь, на это есть план и всякое такое... Раньше он всегда целовал мне руку. А теперь поглядел, будто извинялся, что нет сил. Он всегда улыбается, когда я прихожу. Такой ясный незамутненный взгляд. Я бы вышла за него замуж, если б это не было безумием. В молодых мужчинах чего-то страшно не хватает.

Мимо, отражая огни, шелестел поток автомашин.

– Мне сюда, – оказала она, останавливаясь у дверей. – Холодно. Подними воротник, – и протянула руку, помогая. – Вот так. Побегай вокруг дома...

– Я люблю тебя, – сказал он.

– Побегай и пройдет.

Он поймал облачко ее дыхания и поднес к своим губам.

... Освободилась она на час позднее, чем обещала. Кашин промерз до костей – позвоночник превратился в сосульку и при малейшем движении излучал волны холода, как антенна...

– А теперь корми, – сказала она. – Безумно хочется есть. Я, когда голодная, – злая.

Они набрали в магазине еды и питья, у Кашина не было мелочи, а у кассирши сдачи, и, повернув свое грузное тело в сторону Иветты, она задиристо спросила:

– Может, жена выручит?

И странно было потом вновь уходить от Иветты, но Кашин поклялся себе, что сегодня не обременит ее.

– На вокзал? – усмехнулась она.

– Ну что ты, есть много других чудесных мест.

– Верю, – сказала она.

Кроме неловкого скомканного расставания, все остальное грело душу, и уже казалось, что и так прекрасно – приходиться к ней по вечерам и потом, закрывая за собой дверь, желать спокойной ночи. Он приготовил такое мясо, что с открытого балкона было видно, как собаки останавливались во дворе, задирая нос, и пока он священнодействовал на кухне, к Иветте заходила соседка, дабы выразить полное одобрение ее выбору.

– А муж почему не одобряет? Я видел там, в комнате, вроде бы мужа.

– Он пьян. Проспится и одобрит.

Кулик, как и положено куликам, жил один. Его комната в дебрях огромной коммуналки была сверху донизу забита книгами. В основном – старинными.

– Все твое? – поразился Кашин.

– Не все, – успокоил его Кулик. – В свободное время я еще занимаюсь древним переплетным делом.

Он ходил по комнате, подняв плечи, – в приятном унижении от окружающей его книжной мощи, ему было тепло среди этих древних, в коже с позолотой, корешков.

– Не был на выставке? – не утерпел Кашин.

– В Манеже? Я что – спятил?! – Кулик сделал еще один круг возле стеллажей. – Ой? – растерянно посмотрел на Кашина. – Там же твоя работа? Прости.

– Бог простит.

– Даже ради дорогого гостя не хотел бы поступаться принципами. Не люблю все это якобы современное. Перепевают один другого. Рыцари дозволенных ценностей... От начала века – ни на шаг. Нам вообще не свойственна живопись. Линии нет, свет не чувствуем, краски блеклые, темперамент рыбий. На всю историю живописи – два-три исключения.

– Да ты еще и русофоб.

– У каждого народа свой талант. У русских – он литературный, музыкальный, танцевальный, у англичан технический, философский, а живопись у них – тоже дрянь, секунд хенд...

– Шпенглера что ли начитался?

– При чем тут Шпенглер. Немцы все зануды. Я тебе объективно говорю. Это генетика. Вообще последний пик духовности пришелся на начало двадцатого века. Франция, Испания и, конечно, Россия. Серебряный век. Вершина. – Кулик остановился, не закончив очередного круга, и еще больше, словно в обиженном недоумении поднял плечи: – А потом, потом пришел большевизм, фашизм, и больше нигде ничего хорошего не было. Мы только камешки с той горы... Осыпь...

Кашин промаялся до глубокой ночи. Казалось свинством придти и завалиться спать, хотя от недосыпа клинило мозги. Кулик с удручающей последовательностью отметал сегодняшний день. Его идея сводилась к тому, что если раньше искусство было поиском гармонии между душой и миром, являлось разновидностью веры, то теперь оно существовало лишь по инерции, потому что потребность в гармонии и вере исчерпана.

– Неужто? – усмехнулся Кашин.

– Да пойми же ты, – двумя пальцами схватил его рукав Кулик, – ты и кучка твоих единомышленников – вы даже не поддаетесь статистическому учету. Вы абсолютный нуль в бесконечности потребительства. И если вас и смотрят, то уже по другому внутреннему импульсу. Знаешь, что такое крах социального сознания – это когда потребность вырождается в потребление. Чтобы было великое искусство, должна быть великая духовная потребность.

Спорить было бесполезно. Тем более что Кулик говорил прописные истины. Но Кашин не мог смириться с тем, что и он тоже за бортом. Ему хотелось служить своему времени, быть признанным. Пусть не знаменитым, но узнаваемым и уважаемым. Разве это невозможно?

«Он путает искусство и массовую культуру, – засыпая, продолжал подбирать контраргументы Кашин. – Только там снижен критерий профессиональности. А в настоящем искусстве всегда немногочленно. Двигают его и вовсе одиночки. Жаль, что я не гений. Еще хуже, что я это понимаю. Иветта это точно подметила, еще там, на юге. Но и среди учеников встречаются...»

Чей же он ученик?

С утра не выдержал – позвонил Иветте, как обещал, хотя было желание помучить ее неизвестностью.

Ее голос в трубке звучал по-утреннему трезво и деловито.

– Так мы встречаемся сегодня или нет? Мне нужно знать.

– Конечно, – сказал он, сразу насторожившись и помрачнев. Не такой он хотел ее слышать.

– Ты что скис?

– Ничего. Когда и где мы встретимся? – в голосе его была покорность. Подмывало спросить, чем она будет занята до него, и почему ей обязательно «нужно знать»? Что за этим кроется? Выходит, чтобы встречаться с ним, она отодвигала в сторону какой-то другой, тоже свой мир, чтобы они не столкнулись случайно. Он ревновал ее к этому другому миру именно потому, что ничего не знал о нем. Оказывается, не знал. Она и не подпускала. Даже в прошлый приезд.

Договорились встретиться у Пушкинского музея. Там тоже что-то открылось. Народ прет. Конкуренция Манежу.

Времени было – вагон. В три позвонил Насте. Она как раз пришла из школы, и голос был запыхавшийся:

– Дима, приезжай, без тебя скучно. И с бабушкой все время ссоримся. Она думает, что мне пять лет.

– Она тебя любит, – сказал Кашин.

– Любит, любит, – проворчала она. – Одни мучения от такой любви. – И вдруг заговорила приглушенным испуганным голосом, наверное, прикрыв трубку ладошкой:

– Дима, вчера мама звонила... Да, оттуда. Я как раз трубку подняла, бабушка даже не знает. Спрашивала, как и что. Передавала тебе привет. Приглашала в гости...

Текст дочери был рассчитан на то, что линия прослушивается. Умная девочка.

– Тебя, конечно?

– Угу. Как ты думаешь, мне можно поехать?

– Почему нет... – сказал Кашин.

– То есть ты не против, чтобы я съездила, – с деланным равнодушием уточнила Настя, но было слышно, как важен ей его ответ, и еще – что она по-прежнему скучает по матери, любит ее и главное – что никто и никогда не сможет ее заменить.

– Конечно, не против, – сказал он, – мы потом об этом поговорим. Когда вернусь.

– Дима... – ее голос снова приглушила ладошка, – только бабушке пока ничего, договорились? Ты ведь знаешь, как она к маме относится.

– Тебе привет от Иветты, – сказал Кашин.

– Спасибо, – машинально осветила дочь.

– А насчет мамы... Можем вместе поехать в Италию. Так даже удобнее.

Не мог же он сказать правду.

– Здорово! Ты тоже хочешь повидаться с мамой? – в голосе Насти прозвучала безумная надежда, что все трое еще могут быть вместе.

– Да, – сглотнув ком в горле, сказал Кашин.

– Ура!!

В пять он подходил к Пушкинскому музею. Вход в музей был огорожен, сбоку, за деревьями, чернела очередь. Да, это тебе не Манеж. Здесь только нетленка. Сюда его мазня никогда не перекочует.

Пускали небольшими группами и, судя по тому, как действовала милиция, этот порядок давно вошел в привычку.

Он встал позади всех, хотя мог бы и без очереди, по членскому удостоверению. Снова потеплело и начал накрапывать дождь. Кашин поднял воротник. Очередь быстро росла, вытягиваясь до переулка, откуда, шелестя шинами по мокрой брусчатке, выкатывали на Волхонку легковые машины. Из-под земли доносился гул проходящих в тоннеле поездов, и асфальт под ногами едва уловимо вибрировал. Где-то там ехала ему навстречу Иветта. И все-таки странно, что так слышно. Кашин повертел головой и за оградой обнаружил вентиляционную будку метро.

Очередь, в которой он стоял, была не совсем обычной, – люди в ней, казалось, узнавали друг друга – подходя, словно возвращаясь назад к главному от случайного, на время отвлекшего их. Кашин медленно продвигался в этой скрытно доброжелательной толпе, поглядывая на перекресток и дальше – через дорогу, откуда по его представлению должна была появиться Иветта. Минуло полчаса, а ее не было. Больше, чем на полчаса, она не опаздывала, и это время Кашин выждал спокойно и терпеливо. Но и через час она так и не пришла.

Темнело, и на улице зажглись фонари. Раза два он обознался, так что вместо приливающего к сердцу тепла внутри возник озноб, похожий на дрожание асфальта под ногами. Кашин предупредил соседей по очереди и побежал к телефонной будке.

Трубку никто не взял.

Крапал дождь – улица в золотых фонарях блестела. Если б еще и снег – была бы она совсем новогодней. Тьма между фонарями была заткана золотыми нитями и, казалось, что Иветта вот-вот возникнет из нее, не может не возникнуть. Но ее не было.

Подошел его черед – и милиционер скинул цепочку. Толпа хлынула со сдержанным порывом, и Кашин оказался во дворике музея. Люди торопливо поднимались по ступеням и исчезали за освещенными колоннами. Кашин сделал вслед за ними несколько шагов и вернулся назад. Неподалеку за оградой по-прежнему темнела терпеливая очередь, прирастающая сзади ровно на столько, сколько пропускали в здание, а по эту сторону прохаживались озабоченные порядком милиционеры. Кашин встал так, чтобы видеть угол улицы. Прошло полтора часа. В общем, ждать было бессмысленно. Один из милиционеров стал вопросительно поглядывать в его сторону. Ну да, фоторобот злоумышленника, испортившего картину выдающегося художника Дмитрия Кашина, роздан всем представителям правоохранительных органов. Его ищут... Ну, ну. А если бы и вправду нашли, интересно, что бы с ним сделали. Картина – его собственность – что хочу, то и ворочу. Вот если бы ее купил худфонд, тогда другое дело.

Дикая, все-таки, система. Худфонд – это государство. Картины у художников покупает только оно – покупает и складировать. А куда их еще девать? Частные коллекционеры под подозрением. Все не как у людей. А если бы и в самом деле можно было поехать в Италию, выставиться, продать, разбогатеть. Неужели там, на родине живописи, его не оценили бы?

Кашин заложил руки за спину и медленно двинулся к каменной лестнице музея. По обе стороны от аллеи стояли голые лиственницы. Здание было освещено прожекторами, и светло-серый гранит легко и соразмерно выступал из темноты. Вот так же должно быть и ему – не горько и больно, а легко и соразмерно. Люди всегда, всю жизнь не совпадают во времени –

опережают или отстают и страдают от этого. Но все уже настолько не сбылось, что теперь он ждал спокойно, – каждое мгновение падало, как из капельницы, прибавляя силу и надежду.

Еще один поток выплеснулся во дворик и устремился к лестнице, расширяясь и обтекая Кашина. Кашин двинулся к выходу. Больше здесь делать было нечего. Он вернулся к очереди – теперь в ней были новые лица, и общности с ними он не чувствовал. Дождь все так же мелко сеял, появляясь в фонарном свете из небытия, и машины, бесшумно, как рыбы, прорывали его колеблющуюся сетку. Над очередью громоздился кривой панцирь зонтиков. В последний раз Кашин безнадежно глянул через улицу и увидел Иветту. Она шла вымученной подпрыгивающей походкой и, морщась, смотрела в сторону толпы. Кашин поднял руку и побежал навстречу.

– Ты? – остановилась она. – Ты еще здесь?

Она была очень усталой, но такая – казалась еще родней. Он взял ее за руку и повел.

Милиционер не признал Кашина и не хотел пропускать, кивая на очередь. Пришлось показать удостоверение союза. Милиционер удовлетворенно кивнул, и в жесте, которым он возвратил книжечку, были уважение и покровительство.

Пока Кашин сдавал в гардеробе пальто, Иветта присела на край стула и оставалась неподвижной. Ее руки свисали между колен, и казалось, по ним стекает усталость. На Иветте был свитер из мягкой ворсистой шерсти, наполненный теплом ее тела. Кашин остановился перед ней, не решаясь потревожить. Она встала, опираясь на его руку, и пошла, сразу выпрямившись, горделиво и легко.

На привозной выставке, небольшой, но солидной, – шедевры европейской живописи – они с Иветтой разошлись и, двигаясь вдоль картин, Кашин все время помнил о ней и, когда она покидала зал, его охватывало беспокойство. Ее присутствие отвлекало его, пока он не дошел до своего любимого Констебля и не замер, услышав гул воды под мостом, ее свежий запах и переливающийся блеск. Какая жажда реальности и какое ощущение чуда в каждой подробности! Он захотел поделиться с Иветтой и переглянулся с ней через длину зала, но взгляд ее был полон картиной, перед которой она стояла, и он сам подошел. Это был Тициан. Тициана он не любил, но это были портреты, единственное, что вне условностей эпохи, ее умственной копоты. На одном – сановный старик, на другом францисканский монах. Старик был стар и болен, и из-под припухших красноватых век смотрели усталые глаза страдающего человека. Смотрели они вполсилы, с привычным недоверием, и дорогие одежды не могли прикрыть истинной цены того, что считалось признанием и успехом. Францисканец был еще крепок, черноволос, и его твердое крестьянское лицо несло угрюмую силу инерции и догмы. Сила была скорее разрушительной, но приравнивалась к созиданию – в зависимости от века, из которого смотреть на неё.

Он обернулся, чтобы сказать об этом Иветте, но передумал. Ему хотелось быть угодным, нужным, незаменимым. Ему хотелось быть ей интересным, и он предпочел бы комментировать ее наблюдения, нежели поверять ей свои. Но она молчала, и оставалось только догадываться – о чем. Теперь он продвигался вслед за ней, отставая на несколько шагов, чтобы не мешать, и в каждой картине ища остаточных примет ее внимания. Потом подошел к ней, взял выше локтя – рука была горячей и родной:

– Можно я покажу тебе то, что мне близко. Пройдем еще раз?

Она кивнула, и они сделали круг по залам. Она молчаливо отдала должное его выбору. В этом было уважение к его пристрастиям, но отнюдь не желание заглянуть ему в душу. Ну и пусть, какая малость. Она устала. Они перешли в зал с постоянной экспозицией импрессионистов, и она села посередине на узкий, обитый дерматином диванчик. Села, как упала, подобрав под себя одну ногу, – из-под юбки виднелась лишь остроносая подошва туфли. Ее руки накрест обхватили плечи и, ссутулившись, она посмотрела на него, спрятав пол-лица в мягком вороте свитера. «Что теперь?» – говорил ее взгляд. Казалось, энергия жизни иссякла в ней, и она полностью полагается на его собственный запас.

Он ободряюще кивнул, подошел к ней, положил руку на плечо и почувствовал, как оно дрогнуло.

– Умер Александр Иванович, – сказала она, – мой больной старик.

У соседей шло празднество – в коридоре висел запах спиртного, винегрета и сигаретного дыма, за дверью раздавались голоса.

– Придется зайти, – вздохнула Иветта. – Я на пять минут. Думаю, это не для тебя. – И оставила его одного.

Его удивила готовность пренебречь им, но тут же он соизмерил ее движение не с собой, а с этими неизвестными ему людьми, которые, видно, тоже нуждались в ней. И снова ждал, с терпеливой нежностью оглядывая ее комнату, куда, вопреки всему, он возвращался в который уж раз – так это ли не судьба?... И улыбался своим мыслям. Похоже, боги все-таки приняли его жертву.

Дверь распахнулась, вошла с нетрезвой торжественностью молодая соседка – крепкотеляя, коротко стриженная деваха, за ней – мелкий молодой человек с одутловатым лицом: они несли початую бутылку водки и закуски. Иветта виновато глянула на Кашина из-за их спин.

Кашин встал и неловко поклонился.

– А интеллигентный какой! – зажмурилась соседка, как бы не в силах противостоять еще одному из Кашинских достоинств. – Запомни, Ветка, если ты не выйдешь за него замуж, я тебе не прощу.

– А твое-то какое дело? – обиженным голосом сказал молодой человек. – Интеллигентный, неинтеллигентный – что ты в этом понимаешь? – Слова он выговаривал уже с трудом. – К нам вчера в ресторане тоже подсел один интеллигентный. Мы его напоили, накормили, в такси привезли, постель постелили. А рано утром он в моем новом костюме... тью-тью на Воркуту. Да еще магнитофон спер, гад ползучий. Найду – задушу собственными руками.

– Да брось ты, Витька, сам виноват.

– Ты, Иринка, не встречай. Я с человеком говорю. Давай, выпьем с тобой, – дирижировал он перед Кашиным бутылкой. – Ты мне не можешь отказать. У меня день рождения. – Он перестал дирижировать и на миг замер, задумавшись:

– Тридцать лет, вот так. Это много, а? Скажи, много? Это старость. А я жить хочу. Если бы ты знал, как я не хочу стареть. – Он быстро налил себе рюмку и выпил. – Ночью проснусь, чувствую – сердце останавливается. Вот. А врачи говорят – не пей! – И он взглянул на Кашина с ненавистью, будто на своего врача, – А как не пить, когда этот гад ползучий...

– Иди, Витя, ты пьян, – сказала соседка.

– А ты мне наливала? – прорыдал Витя.

Кашин вопросительно посмотрел на Иветту. Она сделала досадливую гримасу.

– Пойдем, Витя, пойдем, – сказала соседка, будто шутка состояла именно в том, чтобы его привести и увести. Но Витя с хитренькой улыбкой вырвался и задом точно попал в кресло:

– А кто со мной будет пить?

Выпив еще одну рюмку, он вдруг протрезвел:

– Не переглядывайтесь, я сейчас уйду. Иринка меня уведет. Я только скажу вам, как вас там зовут, меня не касается, что Иветта очень хороший человек. Помогает мне. Задачи решает. Контрольные. Она добрая. Только один недостаток – очень гордая. У! – и он погрозил Иветте пальцем.

– Выходи замуж, Вета, – сказала соседка. – Лучше жениха тебе не найти. Я в мужиках понимаю. Симпатный, хозяйственный, скромный, и уже известный!

– Выходить? – сказала Иветта, подошла и положила руку Кашину на плечо.

– Да вы еще так похожи! – воскликнула Ирина. – Счастливыми будете. Смотри, Витя, как они похожи!

– Как две капли, – сказал Витя.

Иветта посмотрела на Кашина, как в зеркало, словно еще раз перепроверила решенное. Взгляд ее был задумчив и рассеян.

– Она не хочет замуж, – сказал Кашин, все время чувствуя на себе ее руку. – Я предлагал, а она отказывается.

– Ветка? Да ты что?

– Положим, ты не предлагал.

– Ну, так предлагаю.

Когда они ушли, Иветта устало опустилась в кресло:

– Уф, наказание. И так почти каждый день. Мужик – слякоть. Возомнил себя больным – водит всякую нечисть. Ирина его жалеет. Я говорила, брось ты его, а она: «Если уйду, он умрет».

Кашин открыл бутылку вина:

– Я бы не смог быть врачом. Я часто об этом думаю. Болезни, больное человечество. Ты лечишь человека, к нему привыкаешь, а он умирает.

– Не надо об этом.

– Прости... И все-таки неужели врачу не хочется выплакаться, и чтобы его утешили? Допустим, ты пришла ко мне на исповедь.

– Ты не годишься в исповедники.

– Почему?

– Слишком занят собой. Я да я.

– Неправда!

– Да это хорошо. Занят – и ладно. Можно позавидовать. Многие и «я» своего не имеют.

– А хороший был твой портрет?

– Я толком и не разглядела. Жалеешь?

– Не-а.

– Знаю, что жалеешь. Зачем испортил картину? Снял бы и все дела. Хочешь, чтобы я теперь всю жизнь чувствовала себя виноватой? Загубила шедевр? Ну ладно, не хмурься, прости. Это я так – любя.

Он внимательно посмотрел на нее:

– А ты молодец. Трудно быть предметом поклонения и не впасть в ересь.

– Тебе пора. Мне рано вставать. Конференция в девять.

– Я завтра уезжаю.

– Вечером увидимся. Провожу, если не возражаешь, – и она нетерпеливо встала.

– Я не хочу уходить. Положи меня здесь, на полу. Я буду лежать тихо, как мышь.

– Дима, – лицо Иветты стало чужим, – мне бы не хотелось говорить обидные слова.

– Слова? – искренне удивился Кашин. Она может ему сказать какие-то слова?! И это после всего... Поднявшись, он почувствовал, что голова тяжела и его поводит. Иветта стояла рядом. Знала бы она, что в этот приезд он ни разу не пожелал ее. Раньше было, а теперь нет. За кого она его принимает? Слова... Вот он ее словом не обидит – она это чувствует.

Оделся, подпоясался потуже. Мы любим тех, кто причинил нам самую большую боль. Не приближаясь, она протянула руку.

– Да не бойся ты меня! – глухо сказал он, шагнул к ней и прижал ее к себе. О, это тепло, запах...

– Ну, все, пока, до завтра, – улыбнулся, прижал ее руку к губам, вышел в темный коридор, сам открыл замок и, не оглядываясь, побежал вниз по ступенькам.

Кроме стука его шагов, никакой иной звук не огласил лестницу, и, спустившись до второго этажа, он вдруг осознал это – памятью восстановил тишину лестничных площадок, из которой были вычтены его шаги. Он замер, с бьющимся сердцем вслушиваясь в молчание, и бесшумно побежал наверх. Только полы его кожаного пальто со свистящим шорохом отлетали в стороны.

Иветта стояла за незакрытой дверью, прислонившись к косяку. Он молча уткнулся лицом в ее мягкие волосы, коснулся губами горячей шеи, прижался щекой к ее виску. Оторвался от нее, глянул в глаза и прошептал с виноватой улыбкой:

– Никак не могу уйти, – и, оттолкнувшись, снова побежал вниз. Но не миновал он и половины пути, как, потрясенный, остановился. Наверху так и не захлопнулась дверь. «Что же это такое?» – подумал он, снова поворачивая назад. Наверху, на темную площадку из полуоткрытой двери падал свет. В освещенной полосе по-прежнему стояла Иветта, только теперь – прямо, и смотрела на Кашина. Ему показалось, что на ее глазах слезы.

– Ты не уходишь, – сказал он. – Я чувствую. И меня поворачивает обратно. Как мне уйти? Помоги.

Не отрывая от него взгляда, Иветта шагнула назад.

– Да, да, – оказал он, поняв ее по-своему. – До свидания. Он повернулся и медленно пошел вниз. Он спустился до первого этажа и услышал, как далеко наверху глухо хлопнула дверь. Звук этот так запоздал, словно все время до него было заполнено мольбой и ожиданием, и Кашин бросился назад. Он бежал вверх с ощущением права вернуться и, задышавшись от полноты этого права, нажал кнопку звонка.

Дверь сразу открылась, словно Иветта не отходила от нее.

– Это все ты, – сказала она. – Проходи.

И он вошел в комнату. Она зашла следом и, проходя мимо него, полуобернувшись, глядя в пол, сказала:

– Мне почему-то показалось, что если ты уйдешь, я умру. А теперь – все. Поздно. Иди.

– Ну вот, – простонал он, – так я и знал! – И сел на пол. Он никак не мог понять, что же произошло, но и сам чувствовал, что теперь стало непоправимо поздно. Это пришло сразу, но именно оттого, что еще минуту назад все могло сложиться совсем иначе, в произошедшем была какая-то вопиющая несправедливость.

– Ничего, не горюй, – говорила она откуда-то издалека, – поднимайся и... давай.

Он поднялся. Минуту назад он еще был человеком. Теперь он показался себе разбитым термосом: потрясешь – и внутри отзовется зеркальное крошево.

Ступеньки были высокими и при каждом шаге подгибались ноги. Стеклашки звякали внутри. Однажды в детстве он подsunул под крестовину новогодней елки только что подаренную ему саблю. Елка опрокинулась, и все стеклянные игрушки разбились. Мама сметала их веником с точно таким же звуком. Он спустился вниз и снова стал медленно подниматься. Дверь, глухая и тяжелая дверь, слившаяся с темнотой, была закрыта. Он стал тихо дергать ручку. Он не думал, что Иветта откроет. Но она открыла – и молча, тяжело посмотрела на него. Он кивнул, прикрыл глаза и пошел вниз. Все.

Дом спал. На площадках тускло светили лампочки, и сетка шахты лифта отпечатывалась на стене. На третьем этаже стоял стул, видимо, для какой-нибудь старушки, живущей выше. Можно сесть и скоротать ночь, все равно он не уйдет. Он ляжет под ее дверь. Не дыша, поднялся и опять погрузился в темноту. Он и дверь – они оба были незаметны. Между ними было много общего. Их отношения были выяснены не до конца. Он снова стал нажимать ручку – та глухо брякала, возвращаясь в исходное положение.

Сколько он так простоял? Наверно, она слышала. Или не слышала. Наверно, в комнате не слышно. Он стал стучать в стену. Прямо над ее изголовьем. Квартира спала. Все спали, кроме него. Какая несправедливость. Он вышел во двор и посмотрел вверх. Окна были темны. Он наклонился в поисках камешка, но камешек не попадался. Он порылся в карманах и, вытащив монету, швырнул вверх. С тонким звоном она ударилась наверху о стену и упала где-то рядом. Он швырнул другую – и она тоже пропела короткую металлическую песню. Третья вовсе исчезла, будто кто-то невидимый подхватил ее налету. Тут он различил балкон. Как он мог забыть об этом! Взбежал вверх и осмотрел окно на площадке между четвертым и пятым этажами. Залез на подоконник, ухватился за ручку и дернул. Рама не поддавалась. Он дернул изо всех сил – рама глухо выстрелила, отозвавшись эхом на всех этажах. С улицы дохнуло сырým морозцем, запахом земли и прелых листьев. Держась за раму, он выглянул. Перед ним торчали голые верхушки тополей. Далеко внизу под лампочкой, освещающей крыльцо, проступала мокрая в изморози земля. Справа, наверху, в двух метрах, был Иветтин балкон. Если бы прямо над головой, можно было бы с карниза ухватиться за прутья ограды. А если прыгнуть? В лучшем случае он угодит на балкон этажом ниже... Он вспомнил про пояс и вытащил его из петель пальто. Если зацепить за что-нибудь на балконе, можно подтянуться на руках. Металлическая, пряжка звякала о перила и возвращалась к Кашину.

Вдруг он увидел, что форточка на балконе открыта.

– Иветта! – крикнул он, высунувшись из окна. – Иветта!

Сейчас она выйдет на балкон и подаст веревку. Как все же неудачно он расположен. Если б на метр ниже, можно было бы в прыжке ухватиться руками за перила. Каскадеры так делают. Хоть бы какой-нибудь уступ. Он снова высунулся, ступил на карниз и, держась правой рукой за переплет, распластался вдоль стены, лицом к ней. Свободной ногой он искал опору, но нога соскальзывала в бездну, и его больно придавливало щекой к холодной шероховатой бетонной плите. Рука, державшаяся за переплет, стала дрожать от напряжения. Он с трудом подтянулся обратно. Внизу мокро блестели ступеньки крыльца, и земля была гладкой, как бульжник. И тут он услышал, как кто-то внутри сказал: «Ты сейчас упадешь и разобьешься». Но смерть не входила в его планы, и он вернулся обратно на площадку.

Ничего не изменилось здесь, только свет стал желтее. Кашин закрыл раму, пристукнув ее кулаком, и пошел к Иветте. Не раздумывая, он позвонил. Вскоре послышались шаги, и дверь открылась. Это была соседка. В слабом красноватом свете ночника, падавшем из ее комнаты, она была очень сонной. Словно стыдясь смотреть на него, она неловко посторонилась. Слепу он ткнулся в ее едва прикрытую халатом большую мягкую грудь, и тут же из комнаты раздался капризный голос мужа:

– Иринка, что там происходит? Могу я знать или нет, что там происходит?

Не останавливаясь, Кашин толкнул дверь к Иветте. Она была не заперта и подалась, вдавливаясь во тьму комнаты.

Сначала он ничего не различил, не узнал, будто за время его отсутствия все выгорело в катастрофе, и теперь лишь зола и пепел лежали сокрыто у его ног. Кашин прислушался ко тьме, стараясь найти в ней дыхание спящей Иветты, но дыхания не было слышно. Он повернулся в ту сторону, где она должна была лежать, где вместе они когда-то лежали, на широко разложенном диване, но не было в той стороне ни простыней, ни подушек, ни одеяла – только возвышалось что-то странное, не похожее на человеческую фигуру.

И все же это была она, в неестественной мучительной позе, на боку, так что из-за плеча не было видно головы. На ней были свитер и джинсы.

Не снимая пальто, Кашин лег на пол и преклонил голову к дивану. Все-таки он вернулся сюда. Наперекор всему. Тихий ночной знакомый запах комнаты нисходил на него, и все сразу стало простым и естественным. Он думал, что заснет, но сон не шел, и тьма все расслаивалась перед глазами, как будто он летел сквозь ночь, и она никак не могла кончиться.

Не минуло и часа, как Иветта зашевелилась, вздохнула, и он зажмурил глаза. Он слышал, как она встала, прошла мимо него, вышла из комнаты, как вернулась и остановилась рядом:

– Что же ты хочешь, Дмитрий? – голос ее прозвучал над ним, как приговор.

– Хочу?! – в бешенстве вскочил он на ноги, различив ее силуэт на фоне посеревшей тьмы. – Я хочу убить эту проклятую любовь! Пока я не убью ее...

– Уходи...

Вспыхнул свет, словно был ее верным хранителем, – стоя посреди комнаты, она смотрела на Кашина без пощады.

Тусклый серый рассвет натекал в стекла, и лампочки на лестничных площадках побледнели. Метро наконец открылось, и эскалатор с гулом проваливался в глубину, в теплую утробу земли. Кашин сел в угол вагона и тоже стал проваливаться, только еще глубже... Иногда он открывал глаза, отмечая, как прибывает народ. Вскоре и над ним встала, покачиваясь, темная плотная стена людей, напоминая, что так уже бывало с ним, в прежней жизни, когда казалось, что все, конец, – но и тогда он продолжал жить, и было потом много другого. На конечной остановке он попал в нетерпеливо-целеустремленную толпу, и, хотя ему надо было обратно, она несла его к выходу, за стеклянную коробку наземной станции, где падал мокрый снег...

Так все и кончилось, но еще довольно долго его грела фраза, брошенная Иветтой по какому-то поводу, или вовсе без него: «Когда ты будешь старым, я приеду ухаживать за тобой».

Октябрь 1979 – июль 1980 гг.